

Андрей Пономарев



Лётчик-
испытатель.
Книга 3



Андрей Пономарев

Лётчик-испытатель. Книга 3

«Автор»

2026

Пономарев А. В.

Лётчик-испытатель. Книга 3 / А. В. Пономарев — «Автор», 2026

Майору Пайку доверяют испытать сверхсекретный истребитель, который должен стать лучшим в мире. Но уже в первых полётах он замечает опасные особенности машины — и, пытаясь докопаться до правды, нарушает протоколы. Его отстраняют. Другой пилот погибает. Проект замораживают. Вскоре Пайк оказывается на войне с Китаем, где каждый вылет может стать последним. Но когда испытания возобновляют и гибнут ещё двое лётчиков, становится ясно: только он способен понять эту машину. Теперь майору предстоит вернуться туда, откуда его изгнали, и подняться в небо на истребителе, который не прощает ошибок.

© Пономарев А. В., 2026

© Автор, 2026

Андрей Пономарев

Лётчик-испытатель. Книга 3

Благодарю Евгения Курылёва за подачу идеи и вдохновение.

Лётчик-испытатель - 3

Все события происходят в вымышленной вселенной, которая хоть и очень сильно похожа на нашу, но также имеются кардинальные отличия! В науке и технике, политике, экономике. А также в ряде исторических событий!

Предисловие

В квартире Дмитрия Ивановича было тихо. Слишком тихо для большого дома, в котором когда-то жила молодая женщина, привыкшая ходить по комнатам быстро, легко, почти бесшумно, но всё равно оставлять после себя ощущение присутствия. Валентина умела заполнять пространство даже тогда, когда молчала. Её смех мог донестись из кухни, из спальни, из коридора — и дом сразу становился живым. Её духи держались на шторах, на воротнике пальто, на мягкой обивке кресла у окна.

Теперь запах почти исчез. Остались только вещи. Фотография на комод. Шёлковый шарф, забытый на спинке стула. Закрытая дверь в её комнату, которую Дмитрий Иванович не открывал уже несколько дней.

И пустота. Она была везде. На столе стоял недопитый чай. Чашка давно остыла, но он не убирал её. Сидел в кресле у окна, глядя на вечерний город, и не видел ни огней, ни машин, ни тёмного неба между домами.

Он недавно похоронил дочь.

Эта фраза казалась простой, почти официальной, такой, какую можно написать в справке, в протоколе, в некрологе. Но за ней не помещалось ничего. Ни боль, ни бессонные ночи, ни глухая ярость, ни тот момент у закрытого гроба, когда он вдруг понял: всё, что у него было по-настоящему живого, уходит в землю.

Сначала он не верил. Потом верил только наполовину. Потом пришла злость. Она была удобнее горя. Горем нельзя командовать. Его нельзя построить, подчинить, отправить в атаку. А злость можно. Злость даёт цель. Злость поднимает с кресла. Злость заставляет звонить, искать, приказывать, карать.

Но в этот вечер даже злость сидела где-то глубоко и тяжело, как раскалённый камень в груди.

Телефон зазвонил резко. Звук разорвал тишину так внезапно, что Дмитрий Иванович вздрогнул. Он несколько секунд смотрел на аппарат, будто не узнавал его, потом медленно протянул руку и снял трубку.

— Слушаю.

Голос на другом конце был сдержанным, служебным.

— Это из охраны. К вам гости, Дмитрий Иванович. Полковник Семёнов.

Дмитрий Иванович прикрыл глаза. Семёнов. Значит, новости. Он не спросил какие. Не спросил, срочно ли. Если полковник приехал сам, значит, срочно. Если охрана звонит напрямую, значит, разговор не для телефона.

— Пропустите.

— Есть.

Он положил трубку и ещё несколько секунд держал ладонь на аппарате.

В комнате было полутемно. Шторы не задвинуты, но вечер уже сгустился, и мебель проступала в сером свете углами, силуэтами, тенями. На фотографии Валентина улыбалась — не той улыбкой, которую показывают чужим, а настоящей, домашней, чуть усталой, с прищуром. Такой он запомнил её в последний раз до больницы.

До белых стен. До врачей, которые не смотрели ему в глаза. До слов: «Мы сделали всё возможное».

Дмитрий Иванович отвернулся от фотографии. Снаружи, за окнами, коротко блеснули фары. Машина проехала через ворота на закрытую территорию, миновала пост охраны и остановилась у подъезда. Дверца хлопнула. Из машины вышел полковник Семёнов.

Он был человеком военным до последней складки на шинели. Сухой, собранный, с лицом, на котором служба давно вытеснила лишние выражения. Но сегодня даже он выглядел напряжённым. Не испуганным — нет. Семёнов не позволял себе страха. Однако тот, кто хорошо знал людей в погонах, заметил бы в нём осторожность.

Он шёл к подъезду медленнее обычного. Охрана встретила его у двери. Проверять документы не стали. Просто провели внутрь, подняли на лифте и молча довели до квартиры. Один из охранников нажал звонок, потом отступил в сторону.

Дверь открыл сам Дмитрий Иванович. Полковник шагнул через порог, остановился и машинально выпрямился.

— Товарищ генерал...

Слова сорвались у него прежде, чем он успел их удержать. Дмитрий Иванович чуть поднял руку.

— Не надо официально.

Семёнов мгновенно кивнул.

— Понял.

— Проходи.

Они прошли в кабинет. Он был большим, строгим, почти лишённым случайных вещей. Тёмное дерево, тяжёлые книжные шкафы, закрытый сейф у стены, старые карты в рамках, несколько фотографий с людьми, чьи имена не произносили вслух в обычных разговорах. Здесь когда-то решались вопросы, после которых менялись судьбы. Здесь отдавались приказы, которые никогда не попадали в открытые документы.

Теперь кабинет казался не центром силы, а комнатой человека, который остался один. Дмитрий Иванович сел не сразу. Сначала подошёл к столу, провёл пальцами по краю папки, лежавшей у лампы, потом всё-таки опустился в кресло.

Семёнов остался стоять.

— Дмитрий Иванович...

— Да рассказывай уже.

Полковник на секунду замолчал, подбирая порядок слов. Он понимал: от того, как он сейчас изложит факты, может зависеть не только его служба. В этом доме каждая фраза могла стать приказом.

— Сегодня произошла авария двух транспортных вертолётов, — начал он. — Оба борта следовали по служебному маршруту. Первоначально происшествие оформили как катастрофу, но позже специалисты установили: вертолёты были поражены с земли.

Дмитрий Иванович медленно поднял глаза.

— Чем?

— Переносным зенитным ракетным комплексом.

В кабинете стало ещё тише.

— Продолжай.

— На месте обнаружены следы позиции стрелков, пусковой контейнер, а также внедорожник. Машина принадлежала неофициальной группе сопровождения. В ней находились люди, связанные с вашей службой безопасности.

Дмитрий Иванович не изменился в лице. Только пальцы на подлокотнике кресла чуть сжались.

— Кто именно?

Семёнов назвал фамилии. Первой была фамилия Саши.

Несколько секунд Дмитрий Иванович молчал. Затем тихо спросил:

— Они мертвы?

— Да.

— Все?

— Все трое.

— Как?

Полковник вдохнул.

— По предварительным данным, после падения бортов они подъехали к месту катастрофы. Там вступили в контакт с лётчиком по фамилии Пайк.

Имя повисло в воздухе. Дмитрий Иванович медленно откинулся в кресле.

— С тем самым?

— Так точно.

— Не «так точно», Семёнов. Я сказал: неофициально.

— Да, Дмитрий Иванович. С тем самым.

На лице генерала впервые появилась настоящая эмоция — не боль, не печаль, а холодная, злая заинтересованность.

— И что дальше?

— Они открыли по нему огонь.

— Убили?

Семёнов молчал слишком долго. Этого оказалось достаточно. Дмитрий Иванович чуть наклонился вперёд.

— Убили? — повторил он.

— Нет.

— Значит, ранили?

— Вероятно. На месте обнаружены следы крови. Но подтвердить принадлежность пока невозможно.

— А мои люди?

— Погибли от огнестрельных ранений.

— От чьих?

Полковник опустил взгляд на секунду, потом снова посмотрел прямо.

— От их собственного оружия.

Дмитрий Иванович замер.

— Значит, ты хочешь мне сказать, что мои люди стреляли в этого Пайка, а убил их он?

— По имеющимся данным — да.

— Он был вооружён?

— Никак нет.

— А кто тогда в них стрелял?

— Пайк отнял пистолет у одного из них. Предположительно у Саши. Затем, когда у остальных закончились патроны, он открыл ответный огонь.

Дмитрий Иванович смотрел на него так, будто ждал продолжения анекдота. Но продолжения не было.

— Он что, ниндзя? — наконец произнёс генерал. — Как он смог убить моих лучших людей?

— Не могу знать, товарищ...

— Помолчи.

Семёнов мгновенно замолчал. Генерал поднялся с кресла и медленно прошёлся по кабинету. Его шаги были тихими, но каждый звучал как удар. Он остановился у окна, глядя на тёмный двор, на пост охраны, на машину Семёнова внизу.

Лучшие люди.

Он сам отбирал их не лично, но по его распоряжению. Бывшие сотрудники, крепкие, проверенные, не задающие лишних вопросов. Они должны были сделать простую вещь: найти того, кто разрушил жизнь его дочери, и заставить его заплатить. Но вместо этого лежали теперь в морге. А Пайк исчез.

— Как узнали, что он их застрелил именно из их оружия? — спросил Дмитрий Иванович, не оборачиваясь.

— В экспертной группе есть наш человек. Он передал предварительные данные. Пули совпадают с одним из пистолетов, найденных на месте. Следы борьбы также подтверждаются.

— Следы борьбы, — тихо повторил генерал.

Он произнёс это почти с презрением. Семёнов молчал.

— Хорошо, — сказал Дмитрий Иванович после долгой паузы. — Значит, пропал без вести. Это точно?

— Да. В списках погибших его нет. Среди выживших, доставленных в госпиталь, тоже нет. Его часть подняла поисковую операцию. С собаками прочёсывали местность в радиусе двадцати километров от места падения. Проверили лесополосы, овраги, дороги, заброшенные строения, ближайшие населённые пункты. Результатов нет.

— Совсем?

— Совсем.

— Тело?

— Не найдено.

— Вещи?

— Нет достоверных.

— Свидетели?

— Только косвенные. Один из выживших утверждал, что видел, как он выбрался из борта до взрыва. После этого — ничего.

Дмитрий Иванович повернулся. В его глазах теперь была не скорбь. Там появилась мысль. Холодная, тяжёлая, опасная.

— Он будто сквозь землю провалился, — сказал Семёнов.

Генерал медленно сел обратно в кресло.

— Нет, — произнёс он. — Такие люди сквозь землю не проваливаются. Они уходят. Ползком, на одной руке, с пробитым боком — но уходят.

Семёнов не стал спорить.

— Значит, сделаем так, — сказал Дмитрий Иванович. — У нас есть свои люди в той части?

— Один младший офицер.

— Надёжный?

— Достаточно.

— «Достаточно» меня не устраивает.

— Он будет выполнять задачу.

— Вот это лучше.

Генерал взял со стола карандаш, покрутил его в пальцах и положил обратно.

— Передайте ему приказ. Неофициальный. Если Пайк появится в части, в госпитале, на объекте, где угодно в пределах их структуры, он должен немедленно сообщить вам. Не через рапорт. Не через дежурного. Не через официальные каналы. Лично вам.

— Понял.

— А вы — мне.

— Да, Дмитрий Иванович.

— Будем думать, что с ним делать дальше.

Семёнов кивнул. Дмитрий Иванович посмотрел на него тяжело.

— Но запомните, полковник. Этот Пайк должен сдохнуть.

Он сказал это спокойно. И от этого фраза прозвучала страшнее, чем если бы он кричал.

— Только так я отомщу ему за свою дочь.

Семёнов стоял неподвижно. Он видел перед собой не просто отца, потерявшего ребёнка. Он видел человека, у которого горе стало приказом. А такие приказы редко заканчиваются одной смертью.

— Дмитрий Иванович, — осторожно произнёс он, — а что с малышом?

Вопрос оказался ошибкой. Генерал поднял на него взгляд, и Семёнов сразу понял, что переступил невидимую черту.

— Остался там, в больнице, — сказал Дмитрий Иванович.

Голос его стал глухим.

— Я сказал, что забирать его не буду.

Семёнов промолчал.

— Не хватало мне здесь, в доме, видеть этого ублюдка, из-за которого умерла моя дочь.

Он резко отвернулся, будто сама мысль была физически неприятна.

— Там оформят отказ. Потом дом малютки. Потом детский приют. Меня это больше не касается.

— Но он же...

— Что?

Полковник осёкся. Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Ничего, — сказал Семёнов.

— Вот именно. Ничего.

Дмитрий Иванович провёл ладонью по лицу. На мгновение он показался очень старым. Не генералом, не человеком власти, не тем, кто привык решать чужие судьбы, а просто отцом, у которого забрали дочь и оставили вместо неё ребёнка, в котором он видел не кровь Валентины, а вину Пайка.

— Больше не спрашивай меня об этом, — сказал он. — Никогда. Понял?

— Так точно.

— Иди. И глядите в оба.

Полковник выпрямился.

— Если он появится...

— Нет, — перебил генерал.

Семёнов замолчал. Дмитрий Иванович медленно поднял глаза.

— Он должен появиться. Такие твари, как он, так просто не умирают.

Он замолчал, потом добавил:

— А когда появится — я хочу знать об этом первым.

— Будет исполнено.

— Всё. Свободен.

Семёнов отдал честь. На этот раз Дмитрий Иванович не остановил его. Полковник повернулся, подошёл к двери, открыл её и вышел из кабинета. В коридоре было темнее, чем прежде. Охранник ждал у стены, молча провёл его к выходу.

Когда дверь квартиры закрылась, Дмитрий Иванович остался один. Он ещё долго сидел в кресле, не включая свет.

За окном внизу завелась машина Семёнова, фары скользнули по стене дома и исчезли за воротами. Потом снова стало тихо. Генерал медленно повернул голову к фотографии Валентины.

Она улыбалась ему из прошлого — молодая, живая, упрямая. Он смотрел на неё и пытался удержать в памяти её голос. Но вместо голоса всё сильнее слышал другое: короткие доклады, сухие факты, слова Семёнова.

«Пайк пропал без вести».

«Тело не найдено».

«Среди выживших нет».

«Среди погибших нет».

Дмитрий Иванович сжал кулак.

— Ничего, — прошептал он. — Я найду его.

В квартире снова стало тихо. Но это уже была не тишина траура. Это была тишина охоты.

Глава 1. Материнское сердце

Ожидание оказалось страшнее самого известия. Когда сообщили о катастрофе, всё было ясно хотя бы в одном: произошло несчастье. Был взрыв, был огонь, были погибшие, были раненные, были списки, в которых люди искали знакомые фамилии так, будто от порядка букв зависела жизнь.

Потом пришло другое. Пайка не было среди выживших. Пайка не было среди погибших.

Пайка не было в госпитале, не было в морге среди опознанных, не было среди тех, кого можно было назвать по лицу, жетону или документам. Он словно исчез между двумя взрывами, между дымом и землёй, между жизнью и смертью.

Официально это называлось: без вести пропал. Для матери эти слова ничего не объясняли. Они только мучили.

В первые дни она держалась. Слишком ровно, слишком спокойно, будто сама себя приказом заставила не падать. Ходила в штаб, разговаривала с людьми, слушала доклады, задавала вопросы. Она не плакала при посторонних. Не позволяла себе дрожать. Не позволяла голосу срываться.

Но ночами всё менялось. Ночью дом становился огромным и пустым. Каждый звук казался ей шагом в коридоре. Каждый шорох — движением за дверью. Иногда ей мерещилось, что в прихожей скрипнул пол, как раньше, когда сын возвращался поздно и старался не разбудить родителей. Она поднимала голову, вслушивалась, ждала.

Тишина отвечала ей тишиной. Она ложилась, закрывала глаза и снова видела поле катастрофы, хотя сама там не была. Видела обломки, дым, людей в форме, носилки, чёрные мешки. Видела сына, который лежит где-то в траве, один, раненый, не способный подняться. Видела, как он зовёт её, но голос не может выйти наружу.

Иногда она просыпалась от собственного шёпота:

— Тиша...

Потом садилась на кровати и прижимала ладонь к груди. Там, внутри, что-то болело. Не сердце даже — глубже. Там, где у матери всегда остаётся невидимая нить, связывающая её с ребёнком, каким бы взрослым он ни стал, сколько бы погон ни носил, сколько бы раз ни уходил в небо. Эта нить не рвалась. Она натягивалась всё сильнее.

Сначала боль была тихой, ноющей. Потом стала почти физической. Будто кто-то изнутри тянул её вперёд, к двери, на улицу, к дороге, туда, где всё случилось.

Все ждали ДНК. Экспертиза должна была поставить точку. Или подтвердить худшее. Или дать надежду. Но мать Пайка чувствовала: если она дожждётся этой точки, будет поздно.

Она не могла объяснить, откуда это знала. Просто знала.

На пятый день после того, как пришло сообщение о результатах поисков, она окончательно перестала спать. Ходила по комнатам, останавливалась у окна, возвращалась на кухню, забывала, зачем пришла. Пыталась налить чай — и не допивала. Открывала шкаф — и закрывала. Брала в руки фотографию сына, сделанную ещё до всех этих событий, где он стоял у самолёта, чуть прищурившись от солнца, и смотрел в сторону, будто фотограф был неинтересен, а вот небо — да.

Она долго смотрела на этот снимок. Потом вдруг поняла: больше не выдержит.

В соседней комнате сидел её муж.

Тихон Дмитриевич за последние дни тоже изменился. Всегда прямой, крепкий, собранный, он словно осел внутрь себя. Не сгорбился — нет, военная выправка всё ещё держала его плечи. Но в глазах появилась пустота, от которой становилось страшно.

Когда-то его знали как легенду авиации — «ТК».

Так его называли не только в части. О нём рассказывали истории молодым лётчикам. Его вспоминали как человека, который мог посадить машину там, где другие даже не стали бы пытаться. Он был из тех, кто не теряет управление ни в грозу, ни при отказе системы, ни тогда, когда смерть уже сидит рядом в кабине и улыбается.

Теперь этот человек сидел за столом, смотрел в одну точку и ждал звонка из лаборатории. Ждал, как ждут приговор.

Она остановилась на пороге.

— Тихон.

Он не сразу поднял глаза.

— Что?

Она вошла в комнату.

— Я больше не могу ждать.

Он посмотрел на неё внимательнее. В её голосе было что-то такое, после чего он мгновенно собрался. Не как муж даже — как лётчик перед аварийной ситуацией.

— Что случилось?

— Я чувствую, что он жив.

Он закрыл глаза.

— Не начинай...

— Нет, ты послушай.

— Мы уже говорили об этом.

— Нет, не говорили. Ты говорил мне про поиски, про собак, про прочёсанный радиус, про госпитали, про морг, про ДНК. А я тебе говорю о другом.

Она подошла ближе.

— Тихон, я чувствую, что он жив. Не спрашивай: «Как?» Всё равно не скажу, потому что не знаю. Просто знаю. Здесь знаю.

Она прижала ладонь к груди.

— Моё сердце не даёт мне сидеть. Оно ноет, щемит, тянет. Будто он где-то там и ждёт. Будто ему нужна помощь. И если я не пойду сейчас, будет поздно.

Тихон Дмитриевич медленно поднялся.

— Ты хочешь ехать туда?

— Да.

— На место катастрофы?

— Туда именно.

— Но они там всё облазили. Всё, понимаешь? Собаки, группы, беспилотники, военные, полиция. Двадцать километров во все стороны. Ничего не нашли.

— Потому что с ними не было меня.

Он хотел ответить резко, но не смог. Она стояла перед ним не слабая, не растерянная, не сломленная. В её лице было отчаяние, но за отчаянием — сила, которую нельзя было остановить приказом.

— Моё сердце подсказывает, — продолжила она тише. — Он там. Недалеко от аварии. Может, не прямо на поле, может, в стороне. Но там. Если я не приду к нему сейчас, он может погибнуть. Если тебя не отпустят, покажи мне то место на карте. Я пойду туда пешком.

— Пешком? — он почти испугался. — Ты с ума сошла?

— Возможно.

— Там десятки километров.

— Значит, буду идти десятки километров.

— Ты не знаешь местность.

— Узнаю.

— Там оцепления, посты, следователи...

— Значит, пройду мимо них.

— Тебя задержат.

— Тогда скажу, что ищу сына.

Он отвернулся и провёл ладонью по лицу.

— Господи...

Она подошла к нему и взяла за руку.

— Тихон, если бы ты так чувствовал, я бы не остановила тебя. Я бы пошла рядом.

Он посмотрел на неё. Долго. В этих глазах было всё: усталость, страх, любовь, злость на бессилие, и ещё — та самая надежда, которой он запрещал себе верить.

— Подожди, — сказал он наконец. — Не горячись. Соколов нам здесь не поможет.

— Почему?

— Потому что он сам весь на нервах. Он уже сделал всё, что мог, и даже больше. Но сейчас нам нужен не приказ искать, а возможность попасть туда. Официально. Без скандалов. Без задержаний.

— К кому идти?

— К командиру части. К полковнику Авдееву.

— Он нас примет?

Тихон Дмитриевич коротко усмехнулся, но усмешка вышла горькой.

— Если не примет, я войду без приглашения.

Полковник Авдеев принял их сразу.

Секретарь только успела подняться из-за стола, когда Тихон Дмитриевич уже назвал себя и сказал, что разговор срочный. Через минуту дверь кабинета открылась, и сам Авдеев вышел им навстречу.

Он был человеком немногословным, плотным, с усталым лицом и очень внимательными глазами. После катастрофы он почти не выходил из штаба. На его столе лежали сводки, карты, распечатки, списки погибших и раненых, доклады следователей. В последние дни он тоже постарел — не внешне, а внутренне.

— Проходите, — сказал он. — Оба.

В кабинете пахло бумагой, кофе и табаком, хотя курить там давно было запрещено. На стене висела карта района катастрофы. На ней красными отметками были обведены места падения вертолётов, синими линиями обозначены маршруты поисковых групп, карандашом нанесены возможные направления отхода.

Мать Пайка увидела карту и остановилась. Её сердце болезненно дёрнулось. Она не знала этих мест, никогда там не была, но почему-то одно лишь их изображение вызвало в ней странное ощущение: будто кто-то тихо позвал издалека.

Авдеев заметил это.

— Садитесь.

Она не села.

— Товарищ полковник, мне нужно попасть туда.

Авдеев перевёл взгляд на Тихона Дмитриевича.

— На место катастрофы?

— Да, — ответила она сама. — Сейчас.

Полковник несколько секунд молчал.

— Понимаю ваше состояние, но...

— Нет, — перебила она. — Вы не понимаете.

Тихон Павлович хотел остановить её, но Авдеев поднял руку.

— Пусть говорит.

Она повернулась к нему полностью.

— Я мать. Может быть, для вас это звучит не как довод. Может быть, в рапорте так не напишешь. Но я чувствую, что мой сын жив. Он там. Недалеко от места аварии. Ваша поисковая операция прошла мимо него.

Авдеев не изменился в лице, но взгляд стал острее.

— Мимо?

— Да.

— Мы прочесали весь район.

— Не весь.

— Собаки работали.

— Они не нашли.

— Беспилотники поднимали.

— Они не увидели.

— Группы проверяли все строения.

— Не все.

Она говорила спокойно, но в этом спокойствии была такая уверенность, что даже Тихон Павлович невольно посмотрел на неё иначе.

Авдеев встал из-за стола и подошёл к карте.

— Вы понимаете, что говорите?

— Понимаю.

— Там нет следа. Нет подтверждений. Нет координат.

— Есть я.

— Этого мало для операции.

— Тогда не называйте это операцией. Назовите поездкой матери, которая не может сидеть и ждать, пока ей принесут результат ДНК.

В кабинете стало тихо. Авдеев опустил взгляд на карту.

Тихон Дмитриевич сказал:

— Она пойдёт туда пешком, если мы ей откажем.

— Не сомневаюсь, — сухо ответил Авдеев.

Он повернулся к женщине.

— Вы действительно готовы идти одна?

— Готова.

— Через посты?

— Через чего угодно.

— По незнакомой местности?

— Даже так.

— Даже если вас задержат?

— Пусть задерживают. Только сначала я дойду.

Авдеев смотрел на неё долго. Потом вдруг устало выдохнул.

— Чёрт с вами.

Тихон Дмитриевич поднял голову.

— Что?

— Я не стану спорить с матерью, которая говорит таким голосом.

Полковник вернулся к столу, снял трубку внутренней связи.

— Подготовить малый вертолёт. Немедленно. Пилот не нужен, я поведу сам. Топливо на вылет к району катастрофы и обратно. Через пятнадцать минут у штаба.

Он положил трубку и посмотрел на них.

— Я доставлю вас лично. Вертолёт маленький, но всех нас выдержит. Высадим вас рядом с районом поиска. Вечером я вернусь и заберу вас обратно.

Мать Пайка впервые за всё время опустила на стул. Будто ноги только теперь вспомнили, что могут не выдержать.

— Спасибо, — сказала она тихо.

— Благодарить рано, — ответил Авдеев. — Если вы правы, нам всем придётся объяснять, как мы его пропустили. Если ошибаетесь... лучше не будем об этом.

— Я не ошибаюсь.

Он кивнул, не споря.

— Собирайтесь. У вас пятнадцать минут. Возьмите воду, тёплую одежду, фонарь. До десяти вечера у вас будет время. После — я вас заберу. Что бы ни случилось.

Вертолёт был действительно небольшим. Не боевой, не транспортный, а лёгкая машина для связи и коротких перелётов. Внутри было тесно, шумно, пахло металлом, маслом и старой авиационной кожей. Но для Тихона Дмитриевича этот запах был почти родным. Он сел, пристегнулся и на мгновение прикрыл глаза.

Авдеев занял место пилота.

— Готовы?

— Летите, — сказал Тихон Дмитриевич.

Мать Пайка сидела рядом, вцепившись пальцами в ремень. Не от страха высоты — она и раньше летала сама. Но сейчас каждый метр пути казался ей слишком медленным. Ей хотелось не лететь, а рвануться вперёд самой, через воздух, через небо, через время.

Вертолёт поднялся над частью. Здания штаба уменьшились. Ангары стали серыми коробками. Взлётная полоса вытянулась длинной полосой, потом ушла назад. Внизу поплыли поля, лесополосы, дороги, редкие деревни.

Авдеев почти не говорил. Только иногда передавал короткие сообщения по связи и проверял курс. Тихон Дмитриевич смотрел в окно, но ничего не видел. Его лицо стало каменным. Только губы время от времени сжимались, выдавая, что внутри всё рушится.

Мать Пайка закрыла глаза. Она пыталась услышать то, что привело её сюда. Сначала был только шум винтов. Потом — стук собственного сердца.

Потом внутри снова появилась та самая боль. Но теперь она была не хаотичной, а направленной. Как тонкая ниточка. Как слабый огонёк где-то впереди. Она почти боялась пошевелиться, чтобы не потерять его.

Через час с небольшим вертолёт пошёл на снижение. Внизу показалась местность, где произошла катастрофа. Даже с высоты было видно, что земля там всё ещё носит следы трагедии. Потемневшие участки, вытопанные полосы, следы техники, пятна выгоревшей травы. От основных мест падения отходили еле заметные линии — маршруты поисковых групп.

Авдеев посадил машину на ровной площадке в стороне от обломков. Когда винты начали замедляться, он снял гарнитуру и повернулся к ним.

— Здесь безопасно. Но далеко не уходите без необходимости. Я лечу обратно. Вечером прибуду снова и заберу вас. До десяти вечера у вас время есть.

Тихон Дмитриевич кивнул.

— Связь?

Авдеев протянул ему радиостанцию.

— Держите. Канал настроен. Если что-то найдёте — немедленно вызывайте. Если станет плохо — тоже. Если увидите посторонних — не геройствуйте.

Тихон Дмитриевич взял радиостанцию.

— Понял.

Авдеев посмотрел на мать Пайка.

— Вы уверены?

Она не ответила сразу. Вышла из вертолёт, ступила на землю и вдруг почувствовала, как по телу прошла дрожь. Не от холода. От узнавания. Она была здесь впервые, но сердце словно сказало: да, сюда.

— Уверена.

Авдеев задержал на ней взгляд, потом кивнул.

— Тогда удачи вам.

Вертолёт снова поднялся в воздух. Пыль и сухая трава закружились вокруг. Мать прикрыла лицо рукой, дождалась, пока машина наберёт высоту, и смотрела вслед, пока она не стала маленькой точкой в небе.

Потом шум винтов стих. Они остались вдвоём. На огромной земле, где несколько дней назад горело железо и умирали люди.

Мать Пайка вдруг подняла руки к небу. И закричала так, что Тихон Дмитриевич вздрогнул:

— Ти-и-и-хон! Сы-ы-ы-нок!

Крик ушёл над полем, ударился о лесополосу, растворился в воздухе. Она замерла, прислушиваясь. Ничего. Только ветер.

Она снова хотела крикнуть, но вдруг почувствовала за спиной странную тишину. Обернулась. Тихон Дмитриевич стоял в нескольких шагах от неё.

По его щекам текли слёзы. Не одна случайная слеза, не влага от ветра — настоящие, беспомощные, тяжёлые слёзы взрослого мужчины, который всю жизнь умел держать удар и вдруг больше не смог.

— Ты что? — тихо спросила она, опуская руки.

Он не сразу ответил. Потом выдохнул:

— Что ты делаешь?

— Я зову его.

— Ты мне всю душу наизнанку выворачиваешь.

Она шагнула к нему.

— Тихон...

— Не надо.

Он отвернулся, будто стыдился.

— Я думал, что выдержу. Думал, ещё немного — и выдержу. Списки, морг, ДНК, поиски... Всё выдержу. Я же лётчик-легенда, да? Знаменитый «ТК».

Она попыталась улыбнуться сквозь боль.

— Ты и есть «ТК».

Он покачал головой.

— Всё. Кончился «ТК». Он ушёл вместе с моим сыном.

Эти слова ударили её сильнее, чем любой крик. И в ту же секунду сердце ёкнуло. Резко. Больно. Так, будто та самая невидимая нить вдруг натянулась и потянула её в сторону.

Она замерла.

— Что? — спросил Тихон Дмитриевич.

Она подняла руку, требуя молчания. Ветер шевелил траву. Где-то далеко стучал дятел. Воздух был сырой, пах гарью, землёй и весной.

Она медленно повернула голову. Не к обломкам. Не к дороге. А назад, чуть в сторону, к низкой полосе кустарника и дальше — к неровному участку земли, где начинался старый овраг.

— Кажется... нам туда.

Тихон Дмитриевич мгновенно собрался. Слёзы ещё не высохли на его лице, но взгляд уже стал другим.

— Ты уверена?

— Нет. Но я чувствую.

— Это разные вещи.

— Для меня сейчас — одно и то же.

Она посмотрела на него.

— Надо спасти вас двоих.

— Двоих?

— Его. И тебя.

Он ничего не ответил.

— Идём, — сказала она. — Только не мешай мне. Я должна сосредоточиться.

Она сделала несколько шагов, остановилась, закрыла глаза.

— Искру своего мальчика я поймала. Он ещё живой.

Тихон Дмитриевич молча пошёл следом.

Они бродили почти час. Со стороны это, наверное, выглядело бессмысленно. Женщина шла впереди медленно, иногда резко меняя направление, останавливалась, прислушивалась к чему-то внутри себя, потом снова шла. Муж держался позади и чуть сбоку, внимательно осматривая местность. В одной руке у него была радиостанция, другая всё чаще касалась кобуры.

Они прошли через участок выжженной травы, потом вдоль старого оврага, спустились к сухому руслу ручья, поднялись на другой склон. Несколько раз Тихон Дмитриевич останавливал её:

— Здесь уже ходили.

Она качала головой.

— Не сюда.

— Тут следы поисковиков.

— Не сюда.

— Там ничего нет.

— Значит, пойдём дальше.

Местность постепенно менялась. Они удалялись от открытого поля, уходили к более глухому участку, где кусты росли гуще, деревья стояли неровно, а земля была покрыта старой листвой и прошлогодней травой. Здесь следов поисковой операции почти не осталось. Или они были, но давно смешались с природными.

В какой-то момент мать остановилась так резко, что Тихон Дмитриевич едва не налетел на неё.

— Здесь.

— Что здесь?

Она молчала. Перед ними был небольшой холм, заросший травой, кустарником и молодыми берёзами. Обычный бугор, каких в округе десятки. Но что-то в нём было неправильным.

Тихон Дмитриевич это заметил не сразу. Потом взгляд зацепился. Линия склона была слишком ровной. Кусты росли будто специально подобранными пятнами. У основания холма лежали ветки, но не как после ветра, а словно их укладывали руками.

Он присел, потрогал землю.

— Что это?

Мать Пайка прошептала:

— Он там, я это чувствую.

Тихон Павлович резко поднял ладонь.

— Тихо.

За секунду он стал тем самым «ТК», которого знали в части. Не отцом, не мужем, не человеком на грани отчаяния, а офицером, привыкшим выживать в любой обстановке.

Он вынул пистолет из кобуры.

— Теперь дай мне. Я обследую здесь всё.

— Думаешь, опасно?

— Я думаю, что если кто-то смог спрятать здесь такое, то он не хотел, чтобы это нашли.

Он обошёл холм по дуге, стараясь ступать бесшумно. Проверил кусты, присел у одной стороны, потом у другой. Замаскированное строение открывалось не сразу. Оно было сделано умно: земляная насыпь, сверху слой дерна, кустарник, сухие ветки, вход прикрыт наклонной стенкой из старых досок и грунта.

С воздуха — обычная складка местности.

Для поисковой группы, идущей цепью, — просто заросший бугор, если не знать, куда смотреть. Через полчаса они нашли вход.

Он располагался сбоку, почти у самого основания оврага. Узкий лаз, закрытый щитом, на котором были закреплены куски дерна, ветки и сетка. Тихон Дмитриевич осторожно отодвинул маскировку. За ней темнел низкий проход.

Изнутри пахло сырой землёй, дымом, травами и чем-то горьким, лекарственным.

— Землянка? — прошептала мать.

— Не просто землянка.

Он включил фонарь и посветил внутрь. Проход уходил вниз, под небольшим углом. Стены были укреплены брёвнами и досками, кое-где виднелись металлические распорки. Всё сделано грубо, но крепко. Не на один день. Не случайная охотничья яма.

— Стой за мной, — сказал он.

— Там мой сын.

— Именно поэтому стой за мной.

Они спустились вниз. Ступени были вырублены прямо в глине и укреплены поперечными досками. Под ногами тихо поскрипывало дерево. Внизу проход расширялся. Тихон Дмитриевич шёл первым, держа пистолет перед собой, но ствол опущенным — не хотел напугать того, кто мог оказаться внутри.

Землянка оказалась гораздо больше, чем казалась снаружи. Это было рукотворное подземное убежище, скрытое в склоне оврага. Низкий потолок держали толстые брёвна, потемневшие от времени и дыма. Стены были обшиты досками, между щелями виднелась утрамбованная глина. Вдоль одной стены стояли две грубые деревянные кровати с соломенными матрасами и старыми одеялами. У другой — самодельный стол, покрытый клеёнкой, на котором лежали бинты, стеклянные пузырьки, металлическая миска, ножницы, иглы, нитки, несколько банок с мутными настоями.

В углу тихо тлела маленькая железная печка-буржуйка. От неё шла тонкая труба, уходившая в потолок и, видимо, выводившая дым куда-то далеко в кусты. Поэтому снаружи дым не был замечен. Возле печки висели связки сухих трав: зверобой, полынь, тысячелистник, какие-

то корешки, которые мать не знала. Воздух был тяжёлым, но не затхлым. Здесь жили. Здесь ухаживали за больным.

В глубине помещения была ещё одна ниша, закрытая занавеской из старого брезента. Рядом стояла полка с консервами, сухарями, флягами, керосиновой лампой и аккуратно сложенными инструментами. На полу — чисто, насколько вообще может быть чисто под землёй. Всё лежало на своих местах.

Но мать ничего этого почти не видела. Она увидела только кровать. На ней лежал он — Тихон Тихонович Пайк. Её сын. Бледный, осунувшийся, с запавшими щеками, с повязкой через грудь и плечо, с бинтами на боку и руке. На лице — следы ссадин, у виска — тёмный кровоподтёк. Губы потрескались, дыхание было слабым, но он дышал.

Живой. Мать издала звук, похожий то ли на вскрик, то ли на рыдание, и бросилась к нему.
— Тиша...

Она упала на колени рядом с кроватью и обняла его так осторожно, будто боялась причинить боль, но так крепко, будто больше никогда не отпустит.

— Тиша, Тиша, проснись. Это я. Это мама. Слышишь? Мама пришла.

Сын не шевельнулся. Она гладила его волосы, лицо, плечо, боясь задеть повязки.

— Тиша, родной мой... Ну пожалуйста... Проснись... Я здесь...

Тихон Дмитриевич стоял у входа неподвижно. Пистолет медленно опустился в его руке. Он смотрел на сына, и в его лице не осталось ни возраста, ни звания, ни легенды. Только отец, который уже похоронил ребёнка в душе и вдруг увидел, что тот ещё дышит.

— Он вас не слышит, — тихо произнёс старческий голос.

Тихон Дмитриевич мгновенно поднял пистолет. Из-за брезентовой занавески вышел старик. Невысокий, сухой, с седой бородой, в старой ватной куртке и шерстяной шапке, с глазами живыми и цепкими. В руках у него не было оружия — только деревянная кружка. Он не испугался пистолета. Посмотрел на него спокойно, даже с лёгкой укоризной.

— Опустите железку. Если бы хотел вам зла, вы бы сюда не вошли.

— Кто вы такой? — резко спросил Тихон Дмитриевич.

Мать обернулась, не отпуская сына.

Старик подошёл ближе, но остановился на расстоянии.

— Я тот, кто спас вашего сына. На волокушах вынес его с места аварии. И если бы не моё лекарство, он сейчас числился бы среди погибших.

— Лекарство? — не поняла мать.

Старик кивнул на стол.

— Вон оно. Горькое, злое, но цепляет душу за тело крепче любого крюка.

Мать посмотрела на бинты сына.

— Что это за повязка? Почему он весь перевязан?

Она потянулась к краю бинта, но старик быстро сказал:

— Не трогайте.

Она замерла.

— Почему?

— Потому что он перенёс сложнейшую операцию. И швы ещё свежие.

Тихон Павлович шагнул вперёд.

— Операцию? Здесь?

— А где же ещё? В поле оставить надо было?

— Кто оперировал?

— Мой внук. Врач-хирург. Молодой, но руки золотые. Я ему сказал, что человек после аварии умирает, нужна помощь. Он сразу прибежал сюда с инструментами.

— Почему не сообщили военным? — жёстко спросил Тихон Дмитриевич.

Старик посмотрел на него прищурившись.

— А вы кто будете?

— Его отец.

— Тогда не горячитесь, отец. Я вашего сына возле места аварии нашёл не одного. Там стрельба была. Люди с оружием. Не спасатели. Не врачи. Они его добивали.

Мать побледнела.

— Добивали?

— Пять пуль из него внук вытащил. Пять. И это не считая ушибов, ожогов, контузии и кровопотери.

Тихон Дмитриевич сжал рукоять пистолета так, что побелели костяшки пальцев.

— Пять пуль...

— Видимо, вся эта авария была подстроена только для того, чтобы убить вашего сына, — спокойно сказал старик.

— Убить? — мать произнесла это непонимающе, будто слово было чужим. — Да кому же он перешёл дорогу?

Старик пожал плечами.

— Этого я не знаю. Я могу вам сказать лишь одно: всё узнаем от него самого, когда придёт в сознание.

Он подошёл к кровати, посмотрел на Пайка внимательно, как смотрят на больного, которого знают не по имени, а по дыханию.

— Как, кстати, его зовут?

— Тихон, — ответила мать. — Тихон Тихонович.

Старик поднял брови.

— Редкое имя.

Тихон Дмитриевич тихо сказал:

— В честь меня.

— Значит, вы его настоящие родители.

Они оба кивнули. Старик поставил кружку на стол и вытер руки о полотенце.

— Ну, раз родители, будем знакомы. В деревне меня кличут дед Егор. Но вы меня можете звать дядя Егор. Мы с вами уже почти родственники.

Мать посмотрела на него сквозь слёзы.

— Родственники?

— А как же. Вы ему первое рождение дали. А я, выходит, второе. Правда, не один. Внук помог, да и старые знания наших предков. Без них ваш Тихон не дотянул бы.

Он взял со стола небольшой пузырёк с тёмной жидкостью. Жидкость была густой, почти чёрной, и на свету отливала красноватым.

— Если бы не древний рецепт, мы бы сейчас здесь не разговаривали. Многих это лекарство с того света вытащило. Теперь и ваш сын в этих списках.

Тихон Павлович настороженно посмотрел на пузырёк.

— Что это за чудо-лекарство такое?

Старик усмехнулся.

— Не чудо. Последний шанс. Когда больше ничего не сможет помочь.

— Состав?

— Не скажу.

— Почему?

— Потому что вам это всё равно ничего не даст. Там травы, вытяжки, корни, кое-что животное, кое-что минеральное. Главное не состав, а мера. Ошибёшься — убьёшь. Попадёшь верно — вытащишь.

Мать испуганно подняла глаза.

— Убьёшь?

— Я же сказал: лекарство последнего шанса. Оно очень токсичное. Организм принимает его как яд. Сначала борется с ним, потом вместе с ним борется за жизнь. Но просто так это не проходит.

— Что нужно делать? — спросил Тихон Дмитриевич.

— Придётся трижды вводить противоядие. После этого всё должно встать на свои места.

— Когда?

— Не спешите, матушка, — сказал дед Егор, заметив, как мать Пайка напряглась. — Ваш Тихон ещё не пришёл в себя.

— И сколько ждать?

Старик задумчиво посмотрел на больного.

— Недолго. Я думал, что это случится утром, но почему-то всё затянулось.

Мать снова наклонилась к сыну.

— Тиша...

Она взяла его ладонь.

Ладонь была горячей, сухой и тяжёлой. Пальцы не отвечали, но пульс под кожей бился. Слабый, упрямый.

— Я здесь, родной. Слышишь? Я пришла. Я знала, что ты жив. Все ждали бумажку, а я знала.

Тихон Дмитриевич подошёл с другой стороны кровати. Он не решался прикоснуться. Словно боялся, что если дотронется, всё исчезнет: землянка, старик, сын, дыхание — и снова останутся только списки, морг и ожидание ДНК.

Мать посмотрела на него.

— Тихон.

Он медленно протянул руку и коснулся плеча сына. Очень осторожно.

— Мальчик мой, — прошептал он.

И тут Пайк дрогнул. Сначала едва заметно. Потом его пальцы слабо сжались вокруг материнской ладони.

Мать замерла.

— Тиша?

Веки сына дрогнули. Дед Егор шагнул ближе, внимательно наблюдая.

— Тихо. Не тормозите.

Пайк сделал хриплый вдох. Его лицо исказилось от боли. Губы чуть раскрылись. Веки медленно поднялись.

Глаза были мутными, тяжёлыми, словно он смотрел сквозь воду. Несколько секунд он не понимал, где находится. Взгляд скользнул по низкому потолку, по лампе, по стенам землянки, по лицу старика. Потом остановился на матери. На его лице появилось удивление.

Детское. Невозможное для того человека, которого в части знали как Пайка.

— Ма... ма? — прокряхтел он.

Она всхлипнула и прижала его руку к губам.

— Я здесь. Я здесь, сынок.

Он с трудом моргнул.

— Ты-ы-ы...

— Тихо, не говори. Не надо.

Пайк попытался повернуть голову и увидел отца. Тихон Дмитриевич стоял над ним, бледный, с мокрыми глазами, и будто не мог вдохнуть.

— Отец... — едва слышно прошептал Пайк.

У Тихона Дмитриевича дрогнул подбородок.

— Живой, — сказал он, и голос его сорвался. — Ты живой, сын.

Дед Егор довольно хмыкнул.

— Ну вот. Я же говорил, что сегодня.

Пайк снова закрыл глаза, но теперь это был не провал в забытье. Он просто не мог удерживать их открытыми. Мать испугалась.

— Он опять...

— Не бойтесь, — сказал старик. — Сознание возвращается волнами. Сейчас главное — не мучить вопросами.

— Но ему нужно в госпиталь, — резко сказал Тихон Дмитриевич, будто только сейчас вспомнил о радиостанции. — Немедленно.

Дед Егор поднял палец.

— Осторожнее, отец. В госпиталь — да. Но не тряссти, не таскать как мешок и не отдавать первым попавшимся. У него пять пулевых, швы, лекарство в крови и противоядие, когда наступит время.

— У нас военные врачи.

— Это хорошо. Тогда пусть военные врачи сначала узнают, что ему уже ввели и когда. И пусть ваш командир спустит сюда носилки, медиков и нормальную эвакуацию. А не так, чтобы схватили и понесли.

Тихон Дмитриевич посмотрел на него.

— Вы понимаете, что спасли не просто человека?

Старик пожал плечами.

— Человек — он и есть человек. А что он у вас там за птица, мне всё равно.

Мать Пайка снова наклонилась к сыну.

— Тиша, слышишь? Сейчас мы тебя заберём. Только держись. Не отпускай, понял?

Пайк, не открывая глаз, еле заметно сжал её пальцы. Этого было достаточно. Тихон Дмитриевич включил радиостанцию.

— Авдеев, приём.

Секунда помех.

Потом голос полковника:

— Авдеев на связи. Что у вас?

Тихон Дмитриевич глубоко вдохнул.

— Мы нашли его.

На другом конце повисла тишина.

— Повторите.

— Мы нашли Пайка. Он жив. Тяжело ранен. Нужна срочная медицинская эвакуация. Координаты передам сейчас.

Снова пауза. Потом голос Авдеева стал другим — жёстким, быстрым, командирским:

— Понял. Не перемещайте его без необходимости. Оставайтесь на месте. Поднимаю медиков и группу обеспечения. Вылетаем немедленно.

Тихон Дмитриевич передал координаты, насколько смог, описал ориентиры, вход, склон, овраг. Потом выключил связь и опустил рядом с кроватью.

Мать всё ещё держала сына за руку. Дед Егор стоял у стола и готовил что-то в маленьком шприце, внимательно отмеряя капли из второго пузырька.

— Что это? — насторожился отец.

— Не бойтесь. Не противоядие ещё. Поддержка сердца. До врачей дотянет легче.

— Вы уверены?

Старик посмотрел на него спокойно.

— Отец, если бы я не был уверен, ваш сын сейчас не сказал бы «мама».

Тихон Дмитриевич ничего не ответил. Он только снова посмотрел на Пайка. На сына, которого уже почти отняли у них. На сына, которого не нашли собаки, люди, техника, карты и приказы.

Его нашло материнское сердце.

Там, под землёй, в скрытой землянке, среди запаха трав, дыма и лекарств, время будто остановилось. Наверху ветер шевелил кусты, закрывавшие вход. Где-то далеко над полем катастрофы кружили птицы. В части ждали ДНК, ждали официального ответа, ждали точки.

А здесь точка вдруг превратилась в продолжение. Пайк был жив.

И это меняло всё.

Глава 2. Последний шанс

— Дядя Егор, — тихо произнесла мать Пайка, всё ещё не отпуская руку сына, — может быть, расскажете, почему собаки не почувствовали здесь людей? Они ведь пробежали мимо. Всё обнюхивали. Их сюда специально привозили.

— И это не простые собаки, — продолжил её мысль Тихон Дмитриевич, стоявший у стола. — Они натренированы на поиск людей. Такие и через сутки след берут.

Старик Егор, до этого внимательно проверявший дыхание Пайка, чуть улыбнулся. Улыбка у него была странная: не насмешливая, а спокойная, как у человека, который прожил достаточно долго, чтобы не удивляться чужому удивлению.

— Собаки хорошие, — сказал он. — Не спорю. Умнее некоторых людей будут. Только и против собачьего носа есть своя хитрость.

Он подошёл к стене, снял с гвоздя старый жестяной фонарь и кивнул в сторону выхода.

— Вокруг этой землянки растут мелкие грибки. Я их сам развожу. На вид — плесень плесенью, мелочь болотная. А запах отбивают так, что зверь нос воротит. Не только собаки. Волки обходят. Рысь не подходит. Даже медведь, бывало, кружанёт и уходит в сторону.

Мать удивлённо посмотрела на него.

— Грибки?

— А что вас удивляет? — старик пожал плечами. — Лес давно умнее человека. В нём всё что-нибудь да умеет: одно лечит, другое калечит, третье прячет, четвёртое выдаёт. Надо только знать, что с чем дружит.

Тихон Дмитриевич нахмурился.

— Значит, поисковики могли пройти рядом и ничего не понять?

— Они и прошли, — спокойно ответил дед Егор. — И собаки пробежали. Я сверху слышал. Сначала думал выйти, да потом увидел, как они идут. Быстро, цепью, по своему плану. А у меня человек между жизнью и смертью лежит, операция впереди, да ещё непонятно, кто его добывал. Кричать на весь лес я не стал. Не знал, кто свой, а кто чужой.

— Вы не доверяли военным?

Старик посмотрел на него прямо.

— Я не доверял тем, кто стрелял в вашего сына. А форма у людей бывает разная. И документы тоже.

Эти слова легли в землянке тяжело. Мать Пайка инстинктивно крепче сжала пальцы сына. Он лежал неподвижно, но теперь, после короткого пробуждения, его неподвижность уже не казалась смертью. Это была тяжёлая, глубокая борьба организма за жизнь.

Дед Егор повернулся к Тихону Дмитриевичу:

— Вам, отец, лучше подняться наверх. Встретьте спасателей. Объясните им, где вход, чтобы они тут полсклона не разворотили. А я пока вашей жене лекарство приготовлю. И расскажу, что делать, если приступ начнётся.

Тихон Дмитриевич посмотрел на жену. Та кивнула.

— Иди. Я здесь останусь.

Он помедлил. Ему не хотелось уходить от сына даже на несколько минут. Только нашёл — и уже снова отойти. Но в нём проснулся офицер. В подобных ситуациях нельзя было всем

стоять вокруг раненого и плакать. Один остаётся рядом, другой обеспечивает эвакуацию. И если наверху военные медики будут искать вход, терять время, спорить, ломать маскировку, это может стоить Тихону жизни.

— Я быстро, — сказал он.

Он спрятал пистолет в кобуру, взял радиостанцию и направился к выходу. Перед лестницей остановился, обернулся и ещё раз посмотрел на сына.

— Держись, Тихон, — глухо сказал он.

Потом поднялся наверх. В землянке стало тише. Слышно было, как потрескивает в печке уголь, как где-то в щели посвистывает ветер, как Пайк дышит — неровно, с хрипом, но дышит.

Дед Егор ещё минут пять возился у стола. Его движения казались медленными только со стороны. На самом деле в каждом было точное знание. Он открывал пузырьки, смотрел на свет, встряхивал, что-то отмерял, переливал в маленькие флаконы из тёмного стекла. Потом достал из деревянного ящика пачку одноразовых шприцев, завернутую в чистую ткань.

— Вот, — наконец произнёс он, выставляя всё на стол. — Слушайте внимательно, матушка. Потом повторять времени может не быть.

Мать поднялась с колен и подошла к нему. Лицо у неё было бледное, но взгляд твёрдый.

— Я слушаю.

Старик поставил перед ней четыре флакона.

— Это противоядие для вашего сына. Не лекарство, не укрепляющее, не успокоительное. Именно противоядие. То, что я ему ввёл, вытащило его из смерти, но теперь само может стать смертью, если вовремя не погасить.

— Вы сказали, приступов будет три.

— Будет три. По всем признакам — три. Я дам вам четыре флакона. Один лишний, на всякий случай. В дороге всякое бывает: уроните, разобьётся, руки дрогнут, врачи заберут и потеряют. Пусть будет запас.

— Когда колоть?

Старик строго посмотрел на неё.

— Не раньше времени. Это главное. Как только ему станет очень плохо, не просто плохо, а так, будто он вот-вот уйдёт. Холодный пот, дыхание сорвётся, сердце начнёт биться неровно, тело может выкрутить болью. Тогда у вас будет немного времени. Не надо ждать чуда. В течение пятнадцати минут нужно ввести противоядие.

Он поморщился.

— Тьфу, язык сломаешь от этих ваших медицинских слов. Короче, уколоть. В мышцу. Куда получится: плечо, бедро. Не в вену. Не мудрите. Через несколько минут приступ должен отпустить.

Мать кивнула, запоминая каждое слово.

— А если я сделаю раньше?

— Нельзя, — жёстко сказал Егор. — Просто так не делайте. Без приступа оно почти бесполезно, только ценное лекарство израсходуете. А его не купишь. Не закажешь. Не сварешь за час. Противоядие делается долго и трудно.

— А врачи?

— Врачи будут лечить своё. Пусть лечат. Но это они не знают. И если начнут спорить, вы спорьте сильнее. Скажите, что старик, который его спас, велел. Пусть хоть смеются, хоть кричат. Только когда приступ начнётся, не теряйте время.

Он чуть смягчился.

— Вы мать. Вы почувствуете. Как сюда пришли — так и потом поймёте.

Она взяла один флакон в ладонь. Стекло было прохладным. Внутри прозрачная жидкость чуть желтела.

— А если я не успею?

Старик не стал утешать её пустыми словами.

— Тогда может умереть.

Она закрыла глаза. На секунду лицо её дрогнуло. Но когда она снова посмотрела на Егора, в ней уже не было растерянности.

— Успею.

— Вот и хорошо.

Он завернул флаконы в чистую ткань, положил рядом шприцы.

— Берегите. И никому не отдавайте без расписки, если уж придётся. А лучше держите при себе. Сын ваш ещё не вышел с того берега. Он только зацепился.

Мать вернулась к кровати и снова взяла Пайка за руку.

— Я его удержу, — сказала она тихо.

Дед Егор посмотрел на неё и впервые за всё время не улыбнулся. Он просто кивнул, словно признал в ней равного.

Наверху уже слышался далёкий гул. Сначала слабый, как тяжёлый шмель где-то над лесом. Потом сильнее. Вертолёт.

Тихон Дмитриевич стоял у выхода из землянки, подняв воротник куртки. Ветер шевелил кусты, пригибал траву. Он смотрел в сторону открытого участка, где мог сесть вертолёт Авдеева, и одновременно прислушивался к каждому шороху вокруг.

Теперь, когда сын был найден живым, всё стало ещё опаснее.

Пока Пайк числился пропавшим, врагам не нужно было торопиться. Но если те, кто стрелял в него, узнают, что он жив, они попытаются закончить начатое. Тихон Дмитриевич понимал это слишком хорошо. Его собственная стратегия сложилась мгновенно: не шуметь, не разглашать лишнего, не передавать подробности по открытым каналам, вывезти сына под охраной, а уже потом разбираться, кто и зачем устроил охоту.

Вертолёт показался над верхушками деревьев. Авдеев садился аккуратно, выбрав площадку чуть дальше, чем утром. За ним шёл второй борт — больше, медицинский. Это было уже не возвращение за двумя людьми. Это была эвакуация раненого офицера.

Из вертолёта выскочили медики с носилками, за ними — двое вооружённых бойцов. Авдеев прыгнул последним. Лицо у него было каменным.

— Где он? — спросил он без приветствия.

— Внизу, — ответил Тихон Дмитриевич. — В землянке. Тяжёлое состояние. Оперирован. Пять пулевых.

Авдеев резко посмотрел на него.

— Пулевых?

— Да.

— Кто оперировал?

— Внук старика, который его нашёл. Хирург. По словам деда — вытащил пять пуль.

Авдеев на мгновение сжал челюсти.

— Значит, это уже не только катастрофа.

— Это покушение, — сказал Тихон Дмитриевич. — И я бы на вашем месте сейчас никому лишнему об этом не сообщал.

Полковник посмотрел на него внимательно.

— Думаете, утечка?

— Я думаю, мой сын был расстрелян после падения. Этого достаточно, чтобы перестать доверять случайным ушам.

Авдеев кивнул.

— Согласен. Работаем тихо. Официально — найден тяжелораненым, требуется эвакуация. Детали — только мне, вам и начальнику госпиталя.

Он повернулся к медикам:

— Осторожно. Вход узкий. Носилки подавать под углом. Без рывков. Один врач вниз со мной.

Они спустились в землянку. Медики, увидев условия, сначала переглянулись. Но когда врач осмотрел швы, повязки и состояние раненого, его лицо изменилось.

— Кто это делал? — спросил он.

— Хирург, — ответил дед Егор. — Живой человек делал. Не призрак.

Врач не стал спорить. Он проверил пульс, зрачки, дыхание, осторожно приподнял край повязки и тихо выругался.

— Грамотно, — признал он. — Очень грамотно. Но его надо срочно в стационар.

— Так я вроде не держу, — проворчал дед Егор. — Только трясти его нельзя.

Мать Пайка стояла рядом с кроватью, прижимая к груди свёрток с флаконами.

— Это должно быть при нём, — сказала она врачу.

— Что это?

— Противоядие.

Врач нахмурился.

— Какое противоядие?

Дед Егор шагнул вперёд.

— Такое, без которого он может умереть. Вы там, в госпитале, хоть профессорами называетесь, но слушайте внимательно. Будут приступы. Сильные. Тогда вводить.

Врач хотел возразить, но Авдеев остановил его взглядом.

— Доктор, всё зафиксируете. До выяснения препарат не изымать. Мать остаётся ответственной за флаконы. В госпитале доложите начальнику лично.

— Товарищ полковник...

— Лично, — повторил Авдеев.

Врач кивнул.

Пайка переложили на носилки осторожно, почти по сантиметру. Даже в беспомощности он застонал, и мать едва не бросилась к нему, но дед Егор удержал её за локоть.

— Тише, матушка. Пусть несут.

Когда носилки вынесли наверх, солнце уже клонилось к вечеру. Ветер пах сырой землёй и авиационным топливом. Пайка погрузили в медицинский вертолёт. Мать села рядом, не выпуская его руки. Врач подключил аппаратуру, проверил давление, наложил дополнительные фиксаторы.

Перед взлётом Авдеев подошёл к деду Егору.

— Вам придётся дать показания.

— Дам, — спокойно ответил старик. — Только внука моего не таскайте зря. Он человека спасал, а не тайны государственные воровал.

— Если он действительно хирург, его показания будут нужны.

— Будут — значит, будут.

Авдеев помолчал.

— Спасибо.

Дед Егор махнул рукой.

— Не мне спасибо. Матери его спасибо. Если бы она не пришла, вы бы его ещё неделю искали. А недели у него не было.

Авдеев ничего не ответил. Потому что старик был прав.

До госпиталя Пайк долетел живым. Это уже само по себе было победой. Его сразу увезли в операционный блок, потом в реанимацию. Военные врачи работали долго. Проверяли ранения, швы, внутреннее кровотечение, последствия контузии и интоксикации. После лесной зем-

лянки госпиталь казался другим миром: белые стены, запах антисептика, быстрые шаги медсестёр, короткие команды врачей.

Мать к сыну не пустили. Сначала она пыталась спорить. Потом поняла: здесь спор бесполезен. В реанимации действовали свои законы. Но уйти она отказалась.

Двое суток она просидела в коридоре возле двери. Ей приносили чай — он остывал. Её просили лечь в комнате для родственников — она качала головой. Тихон Дмитриевич приезжал, сидел рядом, уговаривал её хотя бы поспать час. Она соглашалась, закрывала глаза на десять минут и снова вскакивала, будто сын позвал её.

Свёрток с флаконами она держала при себе.

Начальник госпиталя, человек строгий и опытный, сначала отнёсся к рассказу о «токсичном лекарстве» скептически. Но состояние Пайка было настолько необычным, а факт его выживания после пяти пулевых и огромной кровопотери настолько труднообъяснимым, что он не стал рисковать.

— Препарат не трогать, — распорядился он. — Флаконы описать. Хранить рядом с пациентом под ответственностью матери и дежурного врача. При ухудшении — немедленно звать меня.

Мать только тогда немного успокоилась. Через двое суток Пайка перевели из реанимации в отдельную палату.

И ей разрешили остаться. Она вошла туда тихо, как входят в храм. Сын лежал под капельницей, бледный, ослабевший, с повязками и трубками, но уже не такой далёкий, как в первые часы. Он дышал ровнее. Иногда открывал глаза. Узнавал её.

— Мама, — шептал он.

И она каждый раз отвечала:

— Я здесь.

Тихон Дмитриевич был вынужден вернуться в часть. Не потому, что хотел оставить жену и сына. Просто после возвращения Пайка живым в части поднялась такая волна слухов, вопросов и тревоги, что кто-то должен был рассказать людям хотя бы часть правды.

Группа собралась почти полным составом. Люди молчали. Никто не шутил, не переговаривался. Все смотрели на Тихона Дмитриевича. Для многих Пайк был не просто командиром. Он был тем человеком, за которым идут не потому, что так написано в приказе, а потому что верят.

Тихон Дмитриевич вышел к ним без бумажки.

— Сын найден, — сказал он.

По строю прошёл вздох. Кто-то перекрестился. Кто-то опустил голову. Кто-то сжал кулаки.

— Жив. Состояние тяжёлое, но врачи борются. Нашли его в замаскированной землянке недалеко от района катастрофы. Старик местный вытащил его с места аварии на волокушах. Потом позвал своего внука. Тот оказался хирургом. Оперировал прямо там. Из тела Тихона достал пять пуль.

Эти слова ударили по людям сильнее, чем сообщение о катастрофе.

— Пуль? — переспросил кто-то. — В него стреляли?

— Да, — ответил Тихон Дмитриевич. — В него стреляли уже после падения.

Теперь тишина стала другой. Злой.

— Кто? — спросил один из лётчиков.

— Пока неизвестно.

— Диверсанты?

— Не знаю.

— Те, кто сбил вертолёты?

— Возможно.

— Или добивали свидетелей? — сказал техник из заднего ряда. — Если он видел пуск, могли убрать.

— Возможно, — повторил Тихон Дмитриевич.

Предположения посыпались одно за другим. Одни считали, что это была группа диверсантов, которая после атаки на вертолёты зачищала следы. Если Пайк видел их лица или направление отхода, он становился опасным свидетелем.

Другие говорили о криминале: слишком уж странно всё совпало — ракета, подготовленная позиция, люди с оружием, попытка добить выжившего. Значит, за этим могли стоять не случайные бандиты, а те, у кого есть деньги и связи.

Третьи осторожно предполагали внутренний след. Кто-то в силовых структурах мог использовать катастрофу как прикрытие. В таком случае стрельба по Пайку была не хаосом, а частью заранее продуманного плана.

Было и ещё одно предположение — личная месть. Пайк был человеком прямым, резким, не боялся идти против чужих интересов. За годы службы он мог перейти дорогу многим. Но даже те, кто говорил об этом, понимали: личная месть редко выглядит как сбитый вертолёт и пятеро килограммов смерти, обрушенные с неба.

Тихон Дмитриевич выслушал всех. Потом поднял руку.

— Хватит. Догадки оставьте при себе. Сейчас главное — он жив. Второе — рот держать закрытым. Никому за пределами части никаких подробностей. Никаких разговоров в городе, дома, по телефону. Кто стрелял, зачем стрелял — выяснят. Но если враг узнает, что Тихон может говорить, он попытается добраться до него снова.

После этих слов никто больше не задавал вопросов. Все поняли. Возвращение Пайка из мёртвых было радостью. Но одновременно оно означало, что охота не закончилась.

После того, как я отключился там, возле вертолёта, помню уже отрывками.

Госпиталь сначала был белым туманом. Потолок, лампы, чужие голоса, запах лекарств, тяжесть в груди, будто на меня положили плиту. Я просыпался и снова проваливался. Иногда мне казалось, что я в кабине. Рядом трещит связь, машина падает, кто-то кричит в эфире. Потом вместо неба появлялось лицо матери.

Она всегда была рядом. Я открывал глаза — она сидела у кровати. Я засыпал — она держала мою руку. Я просыпался ночью — она поднималась со стула и спрашивала:

— Тиша, больно?

Мне было больно почти всегда. Но я чаще отвечал:

— Терпимо.

Она делала вид, что верит.

Всё лето и начало осени я пролежал в госпитале. Для человека, привыкшего к движению, это было испытанием почти хуже ранений. Тело заживало медленно. Врачи говорили: мне повезло. Отец сказал бы иначе: меня вытащили за воротник с того света, и теперь не надо дёргаться, пока воротник не оторвался.

Мать не покидала палату.

Отец приезжал часто, но служба держала его крепко. Он входил, садился у окна, долго молчал. Иногда рассказывал новости части. Иногда ругался на врачей, хотя те делали всё, что могли. Иногда просто смотрел на меня так, будто проверял: не исчезну ли я снова.

Мы оба делали вид, что нам не страшно. Получалось плохо. С матерью было иначе. Перед ней я не мог долго молчать. Она чувствовала ложь раньше, чем я успевал её произнести.

Однажды вечером, когда за окном уже темнело, а палата стала синей от сумерек, она поправила мне одеяло и сказала:

— Ты что-то скрываешь.

Я усмехнулся.

— Мам, я подполковник. У меня работа такая.

— Не от меня.

Я отвернулся к окну. Она подождала. Она умела ждать. Не давить, не требовать, а просто сидеть рядом, пока ты сам не поймёшь, что молчать уже тяжелее, чем говорить.

— Была девушка, — сказал я наконец.

Мать не удивилась. Только опустила глаза.

— Та самая?

— Какая?

— Из-за которой у тебя лицо меняется, когда ты думаешь, что я не вижу.

Я закрыл глаза.

— Звали её Валентина. Я встретил её на отдыхе, в кабаке возле гостиницы «Приморская».

Странно, но именно эта деталь почему-то врезалась сильнее всего. «Приморская» — та самая гостиница, где я отдыхал с родителями ещё в детстве, когда мне было четыре года. Я тогда почти ничего не запомнил: море, лестницу, сладкую вату и как отец учил меня не бояться волн.

А много лет спустя я вернулся туда взрослым человеком и встретил женщину, которая перевернула мне жизнь.

Я рассказал матери всё, что мог. Не всё, конечно. Некоторые вещи между мужчиной и женщиной не надо вытаскивать на свет даже перед матерью. Но главное рассказал: что Валентина была беременна. Что я узнал об этом не сразу. Что потом всё пошло слишком быстро, слишком неправильно, будто кто-то специально толкал нас в разные стороны.

Мать слушала молча.

Когда я сказал о ребёнке, она прикрыла рот ладонью.

— У меня есть внук? — спросила она.

Я долго не отвечал. Потому что сам не знал, есть ли. Потом рассказал про Сашу.

— Когда подбили вертолёт, я выжил. Не знаю как. Наверное, на упрямстве и злости. Я выбрался, почти ничего не соображая. Кровь, дым, земля, звон в ушах. И там, возле места падения, появился он — Саша. Я узнал его не сразу.

Он говорил. Много говорил. Так говорят люди, которые хотят ударить словами перед тем, как ударить пулей.

— От него я узнал, что Валентина умерла при родах. Когда он это сказал, во мне что-то остановилось. Я спросил: что с ребёнком? А он ответил так, что эти слова до сих пор стоят в ушах: плевать мне на этого ублюдка. После этого он поднял на меня оружие.

Мать вцепилась пальцами в край кровати.

— Он стрелял в тебя?

— Да.

— А ты?

— А я не хотел умирать. Я помню не всё. Помню ствол. Помню, как понял: если сейчас не двинусь, меня добьют. Помню, как выбил оружие из его руки. Помню боль, будто меня разорвали изнутри. Помню, что стрелял уже почти на автомате. Не из злости. Не ради мести. Просто чтобы выжить.

Мать молчала. Потом тихо спросила:

— А ребёнок?

— Не знаю. Даже то, что правда ли это или нет.

Первый приступ случился ночью.

До этого мне казалось, что хуже уже было. Пули, операция, реанимация, жар, слабость — всё это я пережил. Но тот приступ оказался другим.

Я проснулся от ощущения, что сердце стало чужим. Оно не болело — оно сбивалось. То ускорялось, то будто проваливалось в пустоту. Воздуха не хватало. Тело покрылось холодным потом. Боль пошла волной от груди к животу, потом в позвоночник, в руки, в челюсть. Меня начало трясти так, что зубы стучали.

Я хотел позвать, но из горла вышел только хрип. Мать проснулась мгновенно. Не знаю, спала ли она вообще. Скорее всего, просто сидела с закрытыми глазами.

— Тиша?

Я попытался сказать: «Позови врача». Не смог.

Она нажала кнопку вызова, потом схватила свёрток с флаконами. Я видел её лицо — бледное, сосредоточенное, страшно спокойное.

В палату вбежала медсестра, за ней дежурный врач.

— Давление падает! — сказал кто-то.

Мать уже держала флакон.

— Это приступ, — произнесла она. — Дед Егор предупреждал.

Врач на секунду замялся.

— Подождите, мы должны...

— Нет, — сказала она таким голосом, каким, наверное, меня в детстве останавливала у дороги. — Ждать нельзя.

Не знаю, как она убедила врача. Может, он сам увидел, что времени нет. Может, начальник госпиталя заранее дал распоряжение. Помню только её руки. Они не дрожали.

Она сделала укол.

Первые минуты ничего не менялось. Мне казалось, что меня тащит вниз, в чёрную воду. Звуки стали далёкими. Лица расплывались. Я подумал тогда странно спокойно: «Вот и всё. Значит, дед ошибся».

А потом боль начала отступать. Не сразу. Сначала будто кто-то ослабил ремень на груди. Потом я смог вдохнуть. Потом сердце поймало ритм. Тело всё ещё дрожало, но уже не так. Через несколько минут я лежал мокрый, обессиленный, пустой, но живой.

Мать наклонилась ко мне.

— Тиша?

Я с трудом открыл глаза.

— Мам...

Она улыбнулась, и по её лицу потекли слёзы.

— Всё. Отпустило.

Я хотел пошутить, что у неё лёгкая рука. Но сил не было даже на улыбку.

Второй приступ случился через несколько недель.

Я уже начал думать, что первый был последним. Даже позволил себе немного расслабиться. Врачи говорили о положительной динамике, разрешили садиться, потом вставать с помощью. Я уже делал первые шаги по палате, держась за металлическую стойку, и злился на собственную слабость.

А ночью опять пришло. На этот раз я понял сразу. Сначала металлический привкус во рту. Потом резкая слабость. Потом холод внутри, будто кровь стала ледяной. Я успел сказать:

— Мама... флакон.

Она была рядом. Всегда рядом.

Второй укол она сделала ещё быстрее. Врач пришёл уже после. Мне снова стало хуже, чем я мог представить, но теперь я знал: надо продержаться несколько минут. Просто несколько минут. Не бороться со всем миром. Не побеждать смерть. Только не отпустить эту тонкую ниточку.

И снова отпустило.

После второго приступа мать долго сидела рядом и гладила меня по руке.

— Остался один, — сказала она.

— Один, — подтвердил я.

Но третий всё не приходил.

Прошла неделя. Потом другая. Потом август закончился. Потом сентябрь начал желтить деревья за окнами госпиталя. Врачи разводили руками. Мама сказала, что дед Егор, если бы был рядом, наверное, сказал бы, что организм сам решает, когда ему воевать.

Мать не успокаивалась. Каждый раз, когда я бледнел или морщился от боли, она уже тянулась к свёртку. Я злился, потом перестал. Она имела право бояться. Она нашла меня там, где никто не нашёл. Она дважды удержала меня, когда я снова начал уходить.

К началу осени я уже мог ходить без поддержки, хотя быстро уставал. Шрамы тянули. Грудь ныла на погоду. Иногда кружилась голова. Но я был жив. И с каждым днём это слово стало не чудом, а фактом.

Наконец врач сказал:

— Подполковник, готовьте документы. Выписываем.

Мать услышала это и не обрадовалась. Я заметил это сразу.

— Мам.

— Что?

— Ты так смотришь, будто меня не выписывают, а снова на войну отправляют.

— А разве не так?

Я промолчал. Она достала из сумки два оставшихся флакона с противоядием и пачку шприцев. Положила передо мной на стол.

— Слушай меня внимательно.

— Мам, я уже слышал это раз двадцать.

— Значит, услышишь двадцать первый. Если почувствуешь себя так, как тогда ночью, сразу вводишь лекарство. Не ждёшь. Не геройствуешь. Не думаешь, что само пройдёт. Понял?

— Понял.

— Флаконы носить с собой.

— Хорошо.

— Не в чемодане. Не в машине. При себе.

— При себе.

— И чтобы рядом всегда был кто-то, кто знает, что делать.

— Мам...

— Не перебивай.

Я улыбнулся. Она старалась быть строгой, но губы у неё дрожали.

— Я не хочу тебя оставлять, — сказала она тише. — Я знаю, что ещё один раз нужно сделать укол. Я чувствую, что эта история не закончилась.

Я взял её руку.

— Я тоже чувствую. Но ты не можешь жить в моей палате вечно.

— Могу.

— Можешь, — согласился я. — Но не должна.

Она отвернулась.

— Ты опять командуешь.

— Привычка, мам.

— Плохая.

— Профессиональная.

Она всё-таки улыбнулась. Я показал ей небольшой металлический футляр, который попросил принести отца.

— Смотри. Флаконы здесь. Шприцы здесь. Футляр будет всегда со мной. Если почувствую приступ — сделаю укол. Если не смогу сам — скажу ближайшему человеку. Я уже предупредил врача части. Предупрежу Авдеева. Всё будет хорошо.

— Ты не знаешь.

— Не знаю, — честно сказал я. — Но я выжил не для того, чтобы умереть от собственной глупости.

Она долго смотрела на меня. Потом кивнула.

— Хорошо. Но звони каждый день.

— Каждый день не получится.

— Получится.

— Мам, я...

— Тихон.

Я вздохнул.

— Хорошо. Каждый день.

Она обняла меня осторожно, всё ещё боясь задеть раны. Хотя я уже не был тем полумёртвым человеком из землянки, для неё я, кажется, навсегда остался сыном, которого она нашла на краю.

На следующий день она уехала домой. Я провожал её до машины. Отец помог ей сесть, потом подошёл ко мне.

— Готов? — спросил он.

— К чему?

— Возвращаться.

Я посмотрел в сторону дороги, за которой была часть.

— Готов.

На самом деле — не до конца. Часть моей жизни осталась там, у «Приморской», рядом с Валентиной. Часть — на месте падения вертолёт. Часть — в землянке деда Егора, которого я даже не знал. Часть — в госпитальной палате, где мать дважды вытаскивала меня обратно.

Но командир не возвращается целым. Он просто возвращается.

В часть я прибыл ближе к вечеру. Я думал, встреча будет официальной. Рапорт, рукопожатие Авдеева, пара дежурных фраз, потом кабинет, документы, медицинские ограничения, разговоры о расследовании. Ошибся.

Меня ждали. Не по приказу. Не для галочки. Люди действительно ждали.

Когда машина въехала на территорию, у штаба уже стояли мои. Лётчики, техники, связисты, ребята из группы обеспечения. Кто-то был в форме, кто-то прямо в рабочей робе, с маслом на рукавах. Авдеев стоял чуть в стороне и делал вид, что всё это не он разрешил.

Я вышел из машины. На секунду стало тихо.

Потом кто-то сказал:

— Командир вернулся.

И строй сломался. Ко мне пошли сразу все. Осторожно, потому что знали про ранения, но всё равно так, что я едва устоял. Меня обнимали, хлопали по плечу — не сильно, берегли. Кто-то смеялся, кто-то матерился от радости, кто-то отворачивался, чтобы не показать слёз.

— Живой, зараза!

— Мы знали, товарищ подполковник!

— Да кто ж вас возьмёт!

— Командир, больше так не пропадайте!

Я пытался отвечать, но горло сжало. Странное чувство: ты лежал месяцами, учился заново вставать, думал о смерти, о Валентине, о ребёнке, о том, кто стрелял тебе в спину, а потом приезжаешь — и видишь людей, для которых твоё возвращение настоящий праздник.

Не торжество. Не мероприятие. Праздник.

Авдеев подошёл последним.

— Подполковник Пайк, — сказал он официально, но глаза у него были тёплые, — с прибытием.

Я выпрямился насколько мог.

— Прибыл для дальнейшего прохождения службы.

— Вижу. Только без геройства. Врачи мне всё расписали. Пока будете работать головой, а не телом.

— Голова на месте.

— Это мы ещё проверим.

Он протянул руку. Я пожал. И в этот момент понял: моя прежняя жизнь не вернулась. Она не могла вернуться. Валентина умерла. Где-то был мой ребёнок — живой или нет, я ещё не знал. Кто-то организовал атаку. Кто-то хотел, чтобы я не заговорил. В кармане у меня лежал металлический футляр с двумя флаконами противоядия, потому что последний приступ мог случиться в любой момент.

Но я стоял на ногах. Я снова был в части. Рядом были люди, которые верили мне. А значит, впереди была не только боль. Впереди была работа.

И ответы, которые я собирался найти.

Глава 3. Испытания снова начались

Я думал, что после госпиталя мне дадут хотя бы немного времени привыкнуть к собственной коже. Ошибался.

Жизнь, если ты однажды связал её с небом, редко спрашивает, готов ли ты. Она просто открывает ангар, выкатывает на бетон очередного зверя и говорит: «Ну что, подполковник, посмотрим, живой ты или только числишься?»

Испытания начались снова.

Сначала всё было почти буднично. Бумаги, допуски, медицинские ограничения, разговоры с начальством, осторожные взгляды техников. Все пытались делать вид, что ничего особенного не произошло, но я видел: они следят за мной. Не из недоверия — из страха. Слишком недавно я лежал между жизнью и смертью. Слишком недавно меня списали бы в потери, если бы мать не нашла землянку деда Егора.

В кармане кителя всё ещё лежал металлический футляр с последними флаконами противоядия и шприцем. Два приступа уже были. Третий должен был прийти когда угодно.

И именно поэтому, наверное, я особенно остро чувствовал каждую минуту. Когда тебе оставляют долг смерти, ты либо начинаешь бояться каждого вдоха, либо, наоборот, становишься жадным до жизни. Я выбрал второе. По крайней мере, старался убедить себя, что выбрал.

В тот день Соколов вызвал меня без объяснений.

— Тихон Тихонович, зайдите в сборочный цех, — сказал он по внутренней связи. — Есть что показать.

По его голосу я сразу понял: речь не о бумагах.

Соколов вообще был человеком сухим. Если он говорил «есть что показать», значит, где-то под крышей цеха стояло нечто такое, из-за чего у инженеров дрожали руки, а у пилотов начинало чесаться под лопатками.

Я вспомнил его старую фразу: «Строят второй такой же, как ваш “Кошмар”». Тогда я не придавал этому особого значения. После гибели первой машины мне казалось почти кощунством говорить о второй. «Кошмар» был не просто самолётом. Для меня он успел стать живым. Не по документам, не по техническим актам, а по тому странному, почти наследственному

чувству, о котором говорили отец и дед. Настоящий лётчик не управляет машиной — он с ней договаривается.

А с «Кошмаром» мы успели договориться. Потом он умер. Или я так думал.

Мы с Соколовым поднялись на балкончик сборочного цеха. Металлическая лестница звенела под ногами. Внизу пахло машинным маслом, озоном, нагретым металлом и свежей краской. За огромными воротами серел осенний день. Под потолком гудели лампы, и в их холодном свете стояла новая машина.

Я остановился. Сначала мне показалось, что я смотрю на своего «Кошмара». Тот же силуэт. Та же хищная линия фюзеляжа. Те же массивные корневые наплывы крыла. Та же угроза, застывшая в неподвижности. Но уже через секунду я понял: нет. Это был не он.

Машина выглядела как «Кошмар», но что-то в ней было другим. Не сразу объяснимым. Будто перед тобой стоит человек, которого ты давно знаешь, но у него изменился взгляд. Черты лица те же, голос тот же, а внутри поселилось что-то новое, более холодное, более взрослое, более опасное.

Первым делом в глаза бросилась кабина. Она была двухместной.

Я посмотрел на Соколова.

— Кто стрелок?

Свою кандидатуру в качестве кого-либо, кроме пилота, я даже не рассматривал. В этой машине я мог быть только первым номером. Не из гордости. Из необходимости. Такого зверя нельзя отдавать человеку, который его не чувствует.

Соколов усмехнулся.

— Кого назовёте.

— То есть вы опять решили сначала построить монстра, а потом спросить, кто на нём полетит?

— Мы решили построить машину, которая сможет выполнить то, что первая не успела.

Я медленно повернулся к самолёту. Он был темно-серым. Не чёрным, как мой прежний «Кошмар», а именно серым — цветом мокрого гранита перед бурей. От этого он казался ещё тяжелее. Ещё злее.

— Я хочу осмотреть машину, — сказал я.

И сам удивился своему голосу.

Он прозвучал не как просьба. Скорее как необходимость.

Мы спустились вниз. Чем ближе я подходил, тем сильнее становилось ощущение, что иду не к технике, а к бойцовой собаке, которая пока лежит спокойно, но смотрит на тебя из-под века и решает, признавать ли хозяином.

Даже мне эта машина внушала страх. Не панический, не трусливый — другой. Уважительный. Такой страх испытываешь перед морем в шторм, перед горным обрывом, перед оружием, которое может спасти тебя или убить, если дрогнет рука.

Я провёл ладонью по поверхности фюзеляжа. Когда-то так же гладил обшивку первого «Кошмара», когда он ещё не был моим «Летуном». Тогда машина казалась грубой, недоведённой, будто собранной на пределе человеческой наглости. А эта...

На ощупь — зеркало. Иначе не скажешь. Ни стыка. Ни шва. Ни перехода. Поверхность была цельной, гладкой, почти нереальной. Пальцы скользили по ней, не находя ни одного привычного признака сборки. Как будто корпус не собирали из элементов, а вырастили целиком.

— А как же тепловые расширения? — я повернулся к Соколову. — Где швы? Где компенсационные зоны? Уплотнения? Или вы решили, что физика — это мнение, а не закон?

Соколов положил мне руку на плечо.

— Подполковник, ваша прошлая машина дала нам много знаний. Больше, чем мы могли рассчитывать. Мы учли почти всё.

— Почти?

— Абсолютных слов в авиации лучше избегать.

— Разумно.

— Эта машина другая. Внешне похожа, да. Но конструкция переработана. Материалы другие. Система управления другая. Тепловые деформации распределяются иначе. Мы сделали выводы из всего, что происходило с первым «Кошмаром».

— То есть вы хотите сказать, что он погиб не зря?

Соколов помолчал.

— Я хочу сказать, что без него эта машина никогда бы не появилась.

Я снова посмотрел на серого монстра.

— Вам только надо научить её летать, — добавил Соколов.

Вот так просто. Будто речь шла о молодом жеребце, а не о стотонной боевой машине, которая могла превратить бетонную полосу в надгробие, если что-то пойдёт не так.

Я медленно выдохнул. Ну что ж. Одного монстра я уже оживил. Попробуем и этого поднять на крыло.

Утром моросил мелкий осенний дождь. Не лил — именно моросил. Висел в воздухе серой пылью, оседал на бетоне, на касках техников, на стёклах машин, на обшивке нового «Кошмара». От этого его тёмно-серый корпус казался живым, будто зверь вспотел перед прыжком.

Тягач медленно, почти нехотя, выкатил машину из ангара. В этот момент цеховой свет остался позади, и самолёт впервые оказался под настоящим небом.

Я стоял у кромки полосы и смотрел. Вот он. Сын «Кошмара». Не копия. Не замена. Не памятник. Наследник.

Красные звёзды на килях. Эмблема ВВС России. Огромные размеры. Пока ещё сложенные крылья. Хищные наплывы, будто мышцы под кожей. Даже на буксире, без работающих двигателей, он выглядел так, словно уже несёт смерть всему сущему.

Рядом сустились люди, но на фоне машины они казались маленькими. Заправщик подошёл первым. Потом второй. Потом третий. Я усмехнулся.

— Аппетит хороший.

Соколов, стоявший рядом, не отрывал глаз от самолёта.

— Вы ещё не видели боевую загрузку.

— Не торопите радость.

Он посмотрел на меня.

— Волнуетесь?

— Нет.

— Врёте.

— Конечно.

Я надел шлем, проверил перчатки и пошёл к приставной лестнице. На середине подъёма остановился и провёл рукой по борту.

Холодный. Гладкий. Чужой. Пока чужой.

Кабина встретила меня запахом новой электроники, пластика, металла и чего-то ещё — тонкого, почти неуловимого. Запаха машины, которой только предстоит стать живой.

Кресло стрелка располагалось впереди и чуть ниже. Сегодня оно пустовало. Правильно. Первое знакомство должно быть один на один. Без лишних дыханий за спиной, без чужого страха в переговорном канале.

Я занял место пилота. Кресло приняло тело плотнее, чем я ожидал. Системы ожили одна за другой. Панели вспыхнули мягким светом. Индикаторы прошли самотестирование. На центральном дисплее мелькнули строки диагностики.

Я машинально проверил футляр с противоядием во внутреннем кармане.

На месте.

— Не сегодня, — сказал я тихо.

Сам не понял, кому. То ли организму. То ли смерти. То ли новой машине.

Когда заправщик отошёл, техник показал большой палец. Я закрыл фонарь. Мир сразу стал глухим, отрезанным от дождя, людей и мокрого бетона.

Я включил связь.

— Башня, прошу разрешения на запуск и выруливание.

Ответ пришёл почти сразу:

— Машина готова. Примите позывной?

Я усмехнулся.

— Если первый был «Кошмар», то этот пусть будет «Кошмар-один».

В эфире на секунду повисла пауза.

Потом диспетчер произнёс:

— Принято. «Кошмар-один», запуск разрешаю. После проверки — выруливание на полосу.

— Понял. Запускаюсь.

Турбины начали раскручиваться. Сначала низкий гул. Потом вибрация пошла по корпусу, по креслу, по позвоночнику. Воздух вокруг машины задрожал. Дождь за фонарём разлетался тонкими струями. Я слушал двигатели.

У каждого самолёта есть свой голос. Один ворчит, другой свистит, третий поёт чисто, как натянутая струна. У первого «Кошмара» голос был грубый, почти звериный. Этот звучал иначе. Ниже. Глубже. Будто где-то внутри просыпалась не турбина, а огромное сердце.

Проверка систем прошла штатно. Слишком штатно. Я не любил, когда всё идеально. В авиации идеальность часто означает, что проблема просто ещё не успела показаться.

— «Кошмар-один», выруливайте.

— Выполняю.

Машина тронулась мягко. Я ожидал тяжести, инерции, ленивого отклика, но она пошла за тягой охотно, почти легко. Слишком легко для своих размеров. На рулёрке я несколько раз проверил управление, почувствовал реакцию — и впервые насторожился по-настоящему.

Эта махина не была неповоротливой. Она ждала. На исполнительном я остановился, вывел двигатели на режим, ещё раз проверил давление, температуру, гидравлику, стабилизаторы, крыло, предкрылки.

— Башня, «Кошмар-один», к взлёту готов.

— «Кошмар-один», взлёт разрешаю. Ветер боковой слабый. Полоса свободна.

— Принял. Взлетаю.

Я плавно добавил тягу. Турбины взревели. Машина пошла вперёд. Разбег начался тяжелее, чем на истребителе, но легче, чем должен был у такой массы. Скорость росла. Полоса потекла назад. Разметка слилась в серые штрихи.

Рука сама легла на ручку. Ещё немного. Ещё.

— Отрыв, — сказал я почти шёпотом.

Я потянул. И «Кошмар-один» оторвался от полосы. Не вырвался, не сорвался, не вымучил взлёт. Именно оторвался. Уверенно, тяжело и красиво.

Секунду мы шли над бетоном, потом шасси ушли внутрь, крылья раскрылись в полётное положение, и серый зверь начал набор высоты.

— «Кошмар-один», набор до пяти тысяч. Работайте в пределах программы.

— Понял. Набор до пяти.

Программа. Конечно. На первом полёте всегда есть программа. Она существует для того, чтобы инженеры спали спокойнее, начальство имело документ, а пилот мог нарушить её ровно настолько, насколько позволит совесть.

Моя совесть в небе была гибкой. На пяти тысячах я вывел машину в горизонт. Она держалась уверенно. Слишком уверенно.

Я сделал лёгкий разворот. Потом второй. Проверил отклик по крену. По тангажу. По рысканью. Управление было плотным, но не тяжёлым. Будто машина заранее понимала, что я хочу, и начинала движение на долю секунды раньше руки.

— Интересно, — пробормотал я. — А ну если крутануть?

Бочка. Серый горизонт перевернулся, ушёл вверх, вернулся на место. Машина прошла фигуру чисто. Финт. Резкий уход, доворот, смена плоскости. Сразу свечка.

Перегрузка ударила так, что в глазах потемнело по краям. Не смертельно, но уважительно. Тело сразу напомнило: ты недавно лежал в госпитале, умник.

— Держимся, — сказал я себе.

Падение кабиной вниз. Не классический выход из пике. Наоборот — с провалом на хвост, с почти издевательским зависанием, когда машина словно отказывается подчиняться привычной логике. Форсаж. Мы замерли в «Кобре». Сброс газа. Работа предкрылками. Нос опустил вперёд, корпус пошёл за ним, и мы вышли на плоскость.

Высота — шесть тысяч. Я невольно улыбнулся.

— Башня?

— Слушаем, «Кошмар-один».

— Это точно тот же проект? Или вы мне подсунули совсем другую машину?

В эфире кто-то тихо рассмеялся, но диспетчер ответил официально:

— «Кошмар-один» на то и «один», чтобы превзойти то, что делали ранее.

— Высоту можно?

— Не более восемнадцати тысяч. Скорость не более пяти Махов. Покрытие пока не нанесено.

Пять Махов. Для этой машины — ограничение. Для меня — издевательски мало.

— Принял. Восемнадцать, пять М.

Я раскрутил турбины. Машина начала набирать скорость и высоту для выхода к своим настоящим режимам.

На первом «Кошмаре» примерно на четырнадцати-пятнадцати тысячах у двигателей ощущался провал. Не критичный, но заметный. Приходилось добавлять тягу, ловить режим, подбирать угол. Машина тогда словно спотыкалась о разреженный воздух.

Здесь этого не было. «Кошмар-один» шёл ровно. Уверенно. Без провалов. Без раздражения. Будто воздух сам расступался перед ним.

— Тебе новое имя придётся искать, — подумал я.

И в тот же миг в голове будто прошла тёплая волна. Не звук. Не слово. Не образ. Скорее ощущение. Как будто кто-то, давно знакомый, тихо сел рядом и положил руку на плечо. Я замер. Руки остались на управлении, взгляд — на приборах, но внутри всё резко стало неподвижным.

Это чувство я знал. Отец рассказывал, что у него так было со своей машиной. Дед тоже говорил: однажды самолёт перестаёт быть железом. Не в мистическом смысле. Не потому, что в нём появляется душа, как у человека. Просто твой мозг, нервы, опыт, страх и доверие соединяются с машиной в одну систему. И тогда ответы начинают приходить раньше мыслей.

У меня это однажды выразилось проще. Я называл его Летун. И иногда казалось, что он отвечает.

— Башня, высота семнадцать пятьсот, скорость два и три.

— Принято, «Кошмар-один». Параметры в норме.

«Что, сажаешь, Летун?» Мысль была не моей. Или моей, но не совсем.

Я почувствовал мягкое спокойствие. Уверенность в силе. Ту самую силу, которую невозможно остановить, если она однажды набрала ход.

— Привет, Летун, — мысленно сказал я.

Конечно, он не мог ответить. Он же просто машина.

«Ты скучал?»

Я едва не выругался вслух.

— «Кошмар», скотина... это ты?

Если бы я произнёс такое по открытому каналу, меня могли бы списать не по ранению, а по психиатрии. Хотя... с другой стороны, почему бы не дать бортовому интеллекту голос? Нормальный, человеческий. Чтобы пилот не выглядел идиотом, разговаривая сам с собой.

После посадки намекну Соколову. Если не решат, что я окончательно поехал.

— «Кошмар-один», что скажете о пилотировании? — раздалось в наушниках.

Я усмехнулся.

— Сейчас увидим.

— Подполковник, нет! — голос диспетчера сразу стал напряжённым. — Не с этой высоты и не на такой скорости. На машине ещё нет термопокрытия.

Они слишком хорошо меня знали. И плохо — если думали, что это остановит.

— Понял, — сказал я.

И перевёл машину в пике. Нос вниз. Корпус пошёл за ним. Скорость начала расти. Высота таяла. Мы входили в падение, как сверло в металл.

Семнадцать.

Пятнадцать.

Двенадцать.

Десять.

На восьми тысячах я начал выводить. Не резко — рано ещё ломать новую машину. Но достаточно, чтобы понять, где у неё предел.

Горизонт вернулся. Высота — шесть с половиной. Я сразу дал серию фигур: бочка, переворот, уход в сторону, крутой доворот, снова набор.

И только когда зуммер начал настойчиво пищать о перерасходе топлива, до меня вдруг дошло. Я не на Су-60М.

Не на своём привычном истребителе, где максимальная взлётная — около тридцати пяти тонн, а сухая масса меньше двадцати. Я на «Кошмаре-один».

На машине весом сто восемнадцать тонн. С полной взлётной — под сто сорок. А пилотируется он почти так же.

Не совсем. Конечно, нет. Массу не обманешь. Инерция есть инерция. Но эта машина, почти втрое длиннее и в разы тяжелее моего истребителя, выполняла фигуры так, будто инженерная наглость наконец догнала фантазию.

Им удалось. Эта здоровенная тварь летала как истребитель.

— Башня?

— Слушаем, «Кошмар-один».

— Предел по эксплуатационным перегрузкам?

На том конце связи повисла неприятная пауза.

— Тихон Тихонович, что вы задумали?

— Я задал вопрос.

— Тринадцать-пятнадцать G, но это расчётные показатели.

— За десять постараюсь не выходить. Сам не выдержу.

— Подполковник...

Я отключился от их тревоги. Не от связи — от тревоги. Мне нужно было понять главное: не как машина летает в рамках программы, а что она делает, когда рамки треснут. В бою никто не спросит, нанесено ли термопокрытие и удобно ли пилоту сегодня испытывать перегрузки. В бою ты либо знаешь свой самолёт, либо становишься дымом на горизонте.

Я задрал нос. Мне нужен был воздух потоньше. Меньше сопротивление — меньше лишняя нагрузка на конструкцию.

Пятнадцать тысяч. Скорость два и семь. Я вывел машину в горизонт.

— Попробуем, — сказал я.

Резкий бросок с потерей высоты на левое крыло. Доворот. Выравнивание. И сразу свечой вверх. В глазах потемнело. На секунду мир сжался до приборов и узкой полосы сознания. Тело налилось свинцом.

— «Кошмар-один», сердечный ритм нестабилен, — резко доложили с земли.

— Нормально всё, — выдавил я. — Просто волнуюсь.

«Врёшь красиво», — будто усмехнулось внутри.

Кувырок через кабину. Потом — стрелой вниз.

— Ну что, «Кошмар», вывезем этот фокус? — мысленно спросил я в никуда.

«А куда мы денемся? Сделаем в лучшем виде».

Я похолодел. Он ответил. Не прибор. Не программа. Не голос в наушниках.

Или я сам себе ответил так, как привык за время полётов на первом «Кошмаре». Неважно. Абсолютно неважно. Потому что для пилота грань между интуицией и машиной иногда тоньше волоса. Главное — результат.

Он вернулся.

— Вернулся, засранец?

«Я же говорил: выживи. А я уж потом как-нибудь вернусь».

Скорость в пике росла.

Три и шесть.

Три и девять.

Четыре и два.

Пора.

— Стиснем зубы...

Я потянул ручку на себя. Рвануло так, что мир стал красно-чёрным. Казалось, позвоночник сейчас просыплется в трусы, как выражались старые лётчики. Кресло вдавило в спину, грудь сжало, дыхание стало коротким. Я держал. Машина держала.

Мы вышли. Высота — безопасная. Курс — стабильный. Конструкция — жива.

Я выдохнул.

— «Кошмар», ты как?

«Жёстко. Но терпимо».

— Дожили, — пробормотал я. — Разговариваю с самолётом.

«Лучше со мной, чем с врачами».

Вот тут я чуть не рассмеялся. Предки говорили, что это нормально. Может, и правда нормально. Во всяком случае, гораздо нормальнее, чем пытаться объяснить на земле, почему ты доверяешь машине больше, чем некоторым людям.

Хватит. Первое знакомство состоялось. Я включил связь.

— Башня?

— Слушаем, ТТ.

В голосе диспетчера было облегчение, раздражение и желание убить меня лично.

— Дайте полосу. Сажусь.

— Садитесь, ТТ. Ведём.

Посадка вышла мягче, чем я ожидал. Машина не плюхнулась, не стала бороться с полосой, не потащила меня массой. Она села тяжело, но послушно. Как зверь, который признал поводок — временно.

Когда я открыл фонарь, дождь уже почти прекратился. У трапа стояли Соколов, техники, несколько инженеров и люди с такими лицами, будто они одновременно хотят поздравить меня и написать рапорт о моём немедленном отстранении.

Я снял шлем. Соколов подошёл первым.

— Ну?

— Летает.

— Это я видел.

— Нет, — сказал я, глядя на серый корпус. — Вы не видели. Пока не видели.

Он понял.

— Машина приняла вас?

Я усмехнулся.

— Рано говорить.

«Врёшь», — тихо отозвалось внутри.

Я сделал вид, что не услышал.

Полёты временно прекратили. На «Кошмар-один» ещё нужно было нанести термopокpы-
тие. Процесс долгий, занудный и неизбежный. Без него лезть в настоящие скоростные режимы было нельзя. Даже я это понимал.

Учений пока не предвиделось. Боевых вылетов тоже. В части установилась странная пере-
дышка: вроде все заняты, но главная интрига спрятана в ангаре под слоями технологической
подготовки.

Я пытался использовать время с умом. Разбирал записи полёта. Смотрел телеметрию.
Спорил с Соколовым о том, нужен ли бортовому интеллекту голосовой интерфейс.

— Вы хотите разговаривать с машиной? — спросил он с подозрением.

— Я уже разговариваю.

— Это я и боюсь услышать в официальном докладе.

— Тогда напишите иначе: для снижения когнитивной нагрузки пилота при предельных
режимах требуется персонифицированный голосовой канал взаимодействия.

Соколов посмотрел на меня долгим взглядом.

— Вы только что назвали разговоры с самолётом снижением когнитивной нагрузки?

— Звучит научно.

— Звучит опасно убедительно.

Но потом всё же записал. Параллельно я старался вернуть тело в норму. Тренировки,
дыхание, восстановление после ранений. Врачи ворчали, что я тороплюсь. Я соглашался, кивал
и продолжал торопиться.

И тут меня подвёл нос. Сначала я не придавал этому значения. Обычный насморк. Осень,
сырость, после госпиталя иммунитет мог шалить. Аллергии у меня вроде ни на что не было,
но соплей стало столько, будто организм решил компенсировать все месяцы, когда я дышал
через трубки и повязки.

Через пару дней это начало раздражать. Не больно. Не опасно. Просто унижительно. Ты
только что гонял стосорокатонного монстра по небу, а потом сидишь в кабинете и шмыгаешь
носом, как курсант после наряда под дождём.

Недолго думая, я зарулил в медпункт. И уже в коридоре почувствовал тот самый метал-
лический привкус во рту.

Я остановился. Нет. Только не сейчас.

Сначала было именно это — вкус металла. Потом лёгкая волна холода внутри. Не боль
ещё. Не приступ в полную силу. Но предвестник. Тот самый, который я уже знал.

Третий. Последний. Не кстати, конечно. Хотя смерть вообще редко выбирает удобное время.

Надо было дотянуть до туалета или до процедурной, вскрыть футляр и сделать укол. Быстро. Без объяснений. Без врачебного совета. Так, как со слов матери велел дед Егор. Так, как мать заставила меня повторить перед выпиской раз двадцать.

Я вытащил из внутреннего кармана металлический тубус. Руки уже начинали слабеть. В этот момент меня увидела медсестра.

Молодая, рыжеватая, с усталыми глазами человека, который за смену услышал слишком много жалоб и слишком мало благодарностей.

— Вам плохо?

— Мне надо сделать укол, — сказал я. — Срочно.

— Проходите к врачу. Там сделают.

— Нет. Сейчас.

Но язык уже слушался хуже. В голове шумело. Я сделал шаг, второй — и понял, что спорить больше не смогу. Медсестра подхватила меня под локоть с неожиданной силой.

— Держитесь. Сейчас.

Она довела меня до кабинета. За столом сидела военный врач в звании старшего лейтенанта. Высокая женщина с тёмно-каштановыми волосами, убранными под медицинский колпак. При моём появлении она подняла глаза — и странно замерла.

— Тихон Тихонович? — сказала она. — Что-то стряслось?

В её голосе было не просто дежурное удивление. Она меня знала.

Медсестра быстро объяснила:

— Ему надо сделать укол. Вот у него шприц и флакон. Ему плохо.

Я уже еле стоял на ногах. Врач взяла флакон, повертела в руках, пытаясь найти название. Названия не было. Только прозрачная жидкость с едва заметным желтоватым оттенком.

— Что это за препарат?

— Противоядие, — выдохнул я.

Глаза начали закатываться.

— Какое ещё противоядие? — нахмурилась врач. — Змей у нас здесь нет. Что вы принесли?

Я попытался ответить, но из горла вышел только хрип.

— Наркотики? — её лицо стало жёстким. — Этого мне ещё не хватало. Кладите его. Быстро. Ставим капельницу, будем выводить неизвестное вещество.

Медсестра побледнела.

— Товарищ старший лейтенант, вы же видите, он умирает! Он сказал, что ему нужно ввести это.

— Кто из нас врач — я или ты?

— Но если это жизненно необходимый препарат...

— Неизвестный флакон без маркировки я пациенту вводить не буду. И вам не позволю. Флакон заберу, отправим на экспертизу.

Я слышал их будто из-под воды.

Капельница. Экспертиза. Не вводить. Пятнадцать минут. У меня не было пятнадцати минут на чужие сомнения.

Я хотел подняться, забрать флакон, сделать всё сам. Тело не слушалось. Меня положили на кушетку. Потолок поплыл. В груди стало тесно, сердце сбилось с ритма. По спине прошёл ледяной пот.

Медсестра молчала несколько секунд. Потом сделала то, за что я позже мысленно поставил бы ей памятник.

Из футляра, который ещё лежал рядом с моей рукой, она незаметно вытащила второй флакон. Тот самый запасной, который мать настояла оставить при мне. Подошла к стерильному столику, будто готовила систему для капельницы, и быстро наполнила шприц.

Голос у неё остался ровным:

— Товарищ старший лейтенант, забыла сказать: вас на улице какой-то майор ждёт.

Врач раздражённо подняла голову.

— Что за майор?

— Не знаю. Сказал срочно.

— Сейчас?

— Да.

Врач посмотрела на меня, потом на дверь.

— Готовь систему. Я сейчас.

Как только дверь закрылась, медсестра подбежала ко мне.

— Держитесь, товарищ подполковник.

Я попытался сказать «спасибо», но не смог. Она ввела лекарство. Потом, как ни в чём не бывало, стала собирать систему для внутривенного введения, будто именно этим и занималась всё время.

Вернулась врач недовольная.

— Не было там никого.

— Мне-то что, — спокойно ответила медсестра. — Значит, не дождался.

— Капельница готова?

— Ваш больной — вы и занимайтесь своими капельницами.

Врач резко посмотрела на неё.

— Что?

— Я сказала: я не ваша медсестра. Меня сюда вообще по другому вызову направили.

— Да как ты смеешь?

Но та уже сняла перчатки, бросила их в контейнер и вышла, хлопнув дверью так, что дрогнули стёкла.

Я лежал и слушал, как возвращается мир. Сначала стало чуть легче дышать. Потом отпустила грудь. Потом сердце перестало биться как сорвавшийся двигатель. Потолок перестал вращаться. Лёд внутри начал таять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.